

перед
РОССИЕЙ

Игорь Григорьев
стихи и проза



Москва
2014

УДК 821.161.18
ББК 84(2=411.2)64
Г83

Григорьев И. Н.

Г83 Перед Россией. Стихи и проза.

— М.: ООО «Сам Полиграфист», 2014. — 432 с.

ISBN 978-5-00077-151-8

Книга стихов и прозы «Перед Россией» русского поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева (17.08.1923-16.01.1996) включает в себя четыре последних прижизненных поэтических сборника, а именно: «Крутая дорога», «Кого люблю», «Боль» и «Набат». Заключительная часть книги — автобиографическая повесть «Все перемелется».

© Григорьев И.Н., 2014
© Onebook.ru, 2014

УДК 821.161.18
ББК 84(2=411.2)64
ISBN 978-5-00077-151-8

« ОТЗЫВАЙСЯ ВЗДОХОМ ПОЛНЫМ НА УДЕЛ ДУШИ БЕЗЗВУЧНЫЙ... »

Игорь Григорьев

Поэзия, как никакое иное искусство, раскрывает человеческую сущность самого автора, позволяет заглянуть в колодец его души — глубокий или мелкий, чистый или замутненный, родниковый или поверхностный, сточный. И чем глубже душа, тем увереннее, спокойнее, целительнее, благодатнее, мощнее слово поэта. Не каждый и не сразу способен дотянуться, отхлебнуть этой животворной, обжигающе чистой, духовно очищающей водицы. Она становится доступна лишь тогда, когда читатель готов к внутреннему преображению, когда он чуток к духовному звучанию мелодии слова, когда в нем созрела та благодатная почва, на которой способно прорасти зерно и дать плод приумножающийся.

Поэт промыслом Божиим, Игорь Григорьев (1923-1996) — человек нелегкой, но удивительно героической судьбы, сумевший сохранить по-детски непосредственную, чистейшую совестливость, чувствительность и ранимость болью ближнего. Он — обладатель редкостной преданности, верности, способности жертвенно любить.

Рожденный и возмужавший на скупой, но непритязательной псковской земле: глина, песок да суглинок, — не избалованный богатством да сытостью, Игорь Григорьев, прошел испытание Великой Отечественной войной, мытарствами в поиске хлеба насущного и себя самого: в жизни и в поэзии.

Любовь к возвышенному слогу, как и боевой героизм, Григорьев получил по наследству от отца — Николая Григорьевича — полного Георгиевского кавалера Первой мировой войны, которую начал унтер-офицером, а закончил

командиром полка сапёров, участником Брусиловского прорыва. Был он воином, крестьянином и... поэтом. В 1916 году в Варшаве вышел его сборник стихов.

Первые же опубликованные лирические наброски Игоря Николаевича появились только 2 сентября 1956 года, в «Псковской правде». Он так искренне радовался этому событию, что сравнивал его с первым поцелуем любимой. «Поэзия всецело завладела моим существом. Люблю её! И ни на что не променял бы!» — написал поэт в предисловии к сборнику своих стихов.

Одно из лучших произведений Григорьева, достойное гордого определения: «классика», — стихотворение «Поэты».

Мы воли и огня поводыри
С тревожными раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие — который век! — зари!

Сердца грозят глухонемой ночи,
За каждый лучик жизни в них — тревога,
И кровью запекаются до срока,
Как воинов подъятые мечи.

Взлелеявшие песню, не рабы —
Единственная из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда. И нет иной судьбы.

Нас не унять ни дыбой, ни рублём,
Ни славой, ни цыкуты царской чашей:
Курс — на зарю!
А смерть — бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.

При жизни Игоря Николаевича литературные критики сравнивали его с Сергеем Есениным, Николаем Рубцовым. Но вот прошло время и стали заметны общие корни, мировоззренческие направления с величайшими, не похожими друг на друга мастерами слова: Фет, Тютчев, Блок, Пушкин...

Стихи последнего десятилетия Игоря Григорьева, которые вошли в сборник, — апофеоз сверкающих в неугасимом свете вечной Истины — творческого совершенства и духовно-жизненной мудрости поэта.

Полночь без луны,
Путь мой без дороги.
И ничьей вины,
Никакой тревоги...

Следует обратить особое внимание читателя на язык поэта. Удивительный, я бы сказала, уникальный язык его стихов является звуковым выражением пронзительной русскости Игоря Григорьева, истинного псковича, богатыря земли русской, сына святой Руси. Так и просится повторить за поэтом: «Не убавить, не умерить/ Черногроз и краснозорьев...»

Не случайно народно-поэтическим языком Григорьева заинтересовался филолог-лингвист, русист, составитель многочисленных словарей Анатолий Бесперстых. «Словарь эпитетов Игоря Григорьева» в двух томах уже увидел свет. К изданию готовится «Словарь языка И. Григорьева».

В 1990-ых годах, за год-два до ухода из жизни Игоря Николаевича, будучи вместе с группой врачей во Пскове, в гостях у поэта, я слушала, как он читал отрывок из повести о своей жизни. Помнится, это был рассказ о матери Лавриковой Марии Васильевне, которая жила тогда вместе с сыном в одной квартире и которую он, впоследствии, пережил всего на одни сутки. Боялся умереть раньше, чтобы не причинять родительнице боль. Расчувствовавшись, я с трудом сдерживала слезы. Игорь Николаевич заметил, посмотрел на меня с благодарностью...

Он очень переживал: успеть бы дописать! Успел. Повесть «Все перемелется» вошла в книгу воспоминаний о Григорьеве «Поэт и воин» (2013), а так же в сборник, который вы, дорогой читатель, сейчас начнете читать. И я немного, по-доброму, завидую вам!

Книга «Перед Россией» увидела свет благодаря Александру Ольхину — музыканту, поэту, патриоту, почитателю истинной поэзии, в т.ч. поэзии Игоря Григорьева, его легендарно-героической личности, былинно-русской души. Ведь только такой — рожденный на русской земле человек-поэт-воин мог написать: «В глубинах нашей веры бесприютной / Неугасимы ни Поэт, ни Бог...».

Наталья Советная,

член Союза писателей России,

член Союза писателей Беларуси

крутая
ДОРОГА

~ ~ ~

На неостывших ворохах золы
Глазастятся хоромы в хлябь дороги.
И обгоняют клёкот свой «орлы»,
И облетают месяц круторогий.

Прямущие бетонные столбы
И дедовский извилистый просёлок.
И бражная распахнутость гульбы
В сорвавшихся с цепи гулящих сёлах.

Ржут битюги стальные — трактора,
Прут рысаки в дымах — автомашины.
И — с «Маршем космонавтов» детвора,
И стародавний тенор петушиный.

Селенья, будто вздох судьбы славян:
Туготино, Красуха, Локоть, Уза...
На зябких землях — гостья тёплых стран,
Затея недоумка — кукуруза.

И на кресте путей часовни сруб
Сутулится, обросший смутным мохом.
И с ним бок о бок автоагитклуб,
Соцрай сулящий сельским выпивохам.

И пламень звёзд, сгорающих дотла,
И «звёзды» с невесомым человеком.
И наша жизнь, уж тем одним светла,
Что носит в чреве встречу с новым Веком.

~ ~ ~

Покров гостует в захолустье,
Знобит раздетые кусты.
Не запоясаться от грусти,
От журавлиной маяты.

Хоть рассквозись, хоть разжалей —
От сырых нив не убережся
И на распятье не отречься
От засыпающих полей.

Простор обнимет и обманет,
Заставит вжаться в города.
Так что же, что несёт и манит
Тебя сюда, тебя сюда?

Какою неизбывной верой
Заогневает вдруг душа,
Когда в дали, пустой и серой,
Всплеснётся трепет камыша.

Проглянет небо и прольётся
Пречисто на свинец речной.
И ветер — не цепной — ручной,
Листвой играючи, завьётся.

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани — кроткий, свойский, — здешний,
И на сердце — не стынь, а синь!»

ДИАЛОГ

- Чему ты, бедой закапканенный, рад?
- Ко мне приласкалась утрата утрат!

- С чего ты разыграл, плясовую маня?
- Моя нелюбовь разлюбила меня!

- Почто ты в ударе, настрое благом?
- Мой хитрый дружок распахнулся врагом!

- В чём дело: захмурен, лучишься во мрак?
- Мне руку подал стародавний мой враг!

- Что делать намерен: запить-одуреть?
- Надумал — злу назло — ещё подобреть.

- Не слишком ли поздно схватился за ум?
- Лишь думай — нет рана и поздна для дум.

- Не глупо ль — быть нищему в наши деньки?
- Мне бедная песня дороже деньги!

- Хохочешь? Заплакал бы: плохи дела.
- Смеюсь-заливаюсь, была не была.

- Ведь стужа и темень. Откуда твой зной?
- Надежда и вера сегодня со мной!

- К тому же я правде по правде служу!
- Так, значит, не тужишь?
- Пока погожу.

~ ~ ~

Я рад посмеяться,
Да плачу невольно —
Уж больно мне больно.

Мне вас разлюбить бы,
Да жизнь верховодит —
Любовь не проходит.

Пора бы озлиться,
Врагов побивахом,
Да злость моя — прахом.

Мне дни коротать бы
В скиту одиноком
Да отдан дорогам.

И я прозябаю,
Шатаюсь в потёмках, —
В сомнениях, в постромках.

Стучу потихонку
Зубами от стужи —
Внутри и снаружи.

От рифм изнываю,
Не льстясь на удачу...
Что значу? Что значу?

~ ~ ~

Когда мы жизнью вдоволь наиграемся,
Натешимся, намаемся до дна,
Тогда мы снова жить засобираемся,
Как будто нам вторая жизнь дана.

~ ~ ~

У дня и ночи граней нет:
Рассвет — закат, закат — рассвет.

Гроза и вьюга, зной и стынь —
Пресветлый мир, живая синь.

В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.

Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.

Печаль и радость — две сестры,
Людские жаркие костры.

Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.

И сказка с былью — близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.

На всех одна земная ось...
Лишь родина с чужбиной — врозь.

кого

ЛЮБЛЮ

СВОИ ШАГИ

Василию Григорьеву

Когда тебя заря высока
Покличет сделать первый шаг —
Любой большак тебе дорога
И тропка всякая — большак.

И ты, пылая в зябкой рани,
Легко на свете заживёшь —
Запостигаешь всё заране
И всё стремительно поймёшь:

Себя и песню, день и счастье,
Мир, беспечальный и ничей,
И не намёка на ненастье,
И всё — твоё, без мелочей.

К чему тебе печной дымишко,
Росинки всхлип, петушья весть
И ветрик, робкий, как ручьишко,
Когда большенного не счесть,

И до заката так далёко,
А даль от глаз твоих — на шаг...
А ведь большак — всего дорога,
И тропка лишь одна — большак.

К БОЛИ

Марии Кузьминой

— Не песенок, не басенок — не малость —
Зажги огонь от моего огня!...
— Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.

Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика —
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи как земляника —
Им попевать, увы, не всякий час.

Бывает — отождётся, понимаю,
Всё оборотится во всё равно:
Не радо тело ни стихам, ни маю.
Да надо ждать: иного не дано.

Ведь лирике не верить — крыл не ведать,
Не ждучи мая — сеять трын-траву.
Не жги! Мне в путь пора: весну проведать,
В пронзительную влиться синеву.

Душа моя, как зорняя поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты — Боль моя: ждать не устанешь ты.

ДВАДЦАТИТЫСЯЧНИЦЕ «ПСКОВСКОЙ ПРАВДЕ»

Тебе, печатный орган, стих:
Ведь это ж надо ж — двадцать тысяч!
Но сочинителей твоих
Давно пора бы крепко высечь.

Начать с ответственных мужей,
Чтоб нюх по ветру не держали,
Спросить: «Не много ль нарожали?
Не жжёт ли где от партвожжей?».

Не придержал бы я словца,
Матюжа стиль и слог увечный,
Не жалуя «ура-певца»,
Да сам, увы, не безупречный...

Скажи: за двадцать тысяч раз
Как ты вконец не разорилась?
Вокруг тебя ведь с тыщу нас
— Писцов — кормилось и поилось.

Не сетуй, хвоя, что я
От умиления не таю —
Вокруг да около витаю,
Надежду «на авось» тая.

Стремясь в заоблачную высь
(Куда деваться — век таковский),
Хоть с кем греши, хоть как зовись,
Лишь не останься «правдой псковской».

РУКИ

Василию Лаврикову, дедушке

Где торчали пни уныло
Да мошка над ними ныла —
Перемены:
Запушились две елушки,
Встала хата у горушки —
Крепки стены.

Рьяны, золоты и рады
Бьются певни у ограды
Возле бочки.
И, как важные фигуры,
Дурака валяют куры
Во песочке.

И хоть в горнице не густо —
Чисто, редька да капуста,
Мы — мы сами.
И судьба наша не слепа,
Доживём ещё до хлеба:
Руки с нами.

В тёмном стане потрясенья
Светлый праздник воскресенья
Грянул всё же.
Хата вечна и в опале,
Лишь бы руки не упали,
Дай-то Боже!

ПЕРЕД ИЮНЕМ

Елене Григорьевой

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги — трава.

А поверху вьюги — сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше — в просторе — струистая роздымь:
И это — всего только май.

Как будто сорвалось веселье с постромок —
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек — радость и свет.

А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых — до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.

Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.

ТАНТЕ ЭМИЛИЯ

Эмилии Фердинандовне

В чудном чепце и в буклях
Грозит получужо:
— Во ист дер шток, унгляуклих?¹
Уж я тебе ужо!

Сломал в шкатулке дверку:
Шкодлив не по годам.
Верни мне табакерку,
Иль пфеферу задам!.. —

На русском и немецком
Я тарабарить мог.
И в глупом бзике детском
Съязвил: — Ду бист дер шток!²

Брехнул, как ровне-дружке:
Пошла ты знашь куды!..
— Я, зонхен,³ без понюшки
Как рыба без воды... —

Я не злодей, конечно, —
Её не погубил:
Хотя и не безгрешно,
Да горячо любил.

Мы с нею всех любили.
Потом пришли бои.
Потом её убили:
Не кто-нибудь — свои.

¹ Где палка, несчастный? (нем.).

² Ты — палка (нем.).

³ Сыночек (нем.).

ТАЙГА

Елене, дочери

Как зима ни верховодит,
Сколь пуржища ни зубаста —
И в тайгу весна приходит:
Покусал мороз, и баста!

Отсвистели стыней плети,
Панихида ночи спета.
Ни в одном краю на свете
Не встречал я столько света.

Оползает снег на сопках,
И палы разлив полощет.
На крутых козельих тропках
Смутно лёд синее тощий.

Ветром выглаженный камень
Греет лысину на солнце.
Забегала речка в рамень —
Заливается-смеётся.

Тянет бражной соковицей,
Кличут лебеди в долине,
И дремучим дебрям снится
Цветь да зелень, гром да ливень;

Им, как мамкам, снятся дети,
Пополнение вольнолюбов —
Колонки, козлы, медведи...
Без заморских лесорубов.

~ ~ ~

Юрию Паркаеву

Под зарёй, росой белёсой,
Целиком,
Я иду, простоволосый,
Прямяком.

Да любовь во всеуслышанье
Зову,
Рассыпает бусы вишанье.
— Ау! —

У дороги — деды-вязы,
Вьюн да хмель,
В Красну б Книгу! — долговязый
Журавель —

Врачеватель, богомолец,
Ключ невест;
На полста немых околиц —
Словно перст.

Журки с кладезем не будет
(Я ль спасу!) —
На Руси души убудет —
На слезу...

Пью. И в путь, зане имею
Мало дней.
В полдень гряну к Еремею,
Ночкой — к Ней.

С «досвиданья!» до свиданья —
По полям.
Цвесь с печатью увяданья
Пополам.

НАВСТРЕЧУ ЛИЛОВОЙ ГОРЕ

Сергею Панюшкину

Сарайчик неструтаный: станция.
— Земляк, до Красухи подбрось!
— Пошагивай, што тебе станется,
Кобыла не «волга» небось.

Погода, как видишь, горяченька:
Потопай, прогрейся насквозь.
И кто его выдумал, дачника?
С чего это вас развелось? —

И вот я, как было предложено,
В зелёном июльском костре
Шагаю песчаной дорожиной
Навстречу лиловой горе.

С боков то пшеница нечастая,
То тёмный разлив ячменя,
То куколь — муравка злосчастная
Спокойно глядит на меня.

Колосья кругом не пудовые:
Сам-восемь пока урожай.
Ручьи как ручьи, не медовые,
А мостики — вброд объезжай.

Тихохонько плёскает о сердце
Нехитрой запевкой кулик.
Нежданно-негаданно озерце
«Остынь, торопливый! — велит —

Я радо возврату паломника!..».
И спорок размашистый шаг...
И вот уже — джаз из приёмника,
И дедова хата, как флаг!

Вьюнков-старожилов бессонница, —
Всё вьются, с давно-предавно;
И в сенцах — кислинка, как помнится,
И с той же подковкой бревно;

И тишь как соломинка ломкая,
И — по три соседки в окне.
И ахает, крепко челомкая,
Родня, не знакомая мне.

ТИМОХА

Тимофею Григорьеву

Он был на фрунте ранен,
Приговорён хромать.
Красив, форсист — и странен,
Ума не занимать;

Советский зек-лишонец
(Червонец оттрубил),
Греховник-двоеженец
(Добряк двоих любил).

Хлебнувшие подвоха
И всяческой фигни,
Взывали: — Друг, Тимоха,
Деньгою подмогни.

У нас в дому не тихо,
То бишь дела плохи... —
Ему чужое лихо —
Прощенье за грехи.

ЛАДОГА

Александру Прокофьеву

Ходит Ладогой вал,
Крутобок, белогрив.
Но рассвет запылал,
Холки грив озарив,
Обагрив чернотал —
Краснокрыл, сизо-ал.

Вихорь, ты не грози,
Волны зря не гони:
На воде, как язи,
Заиграли огни,
И прибрежный борок
Будто отчий порог.

Не буянь, старый тать,
Здесь тебе не вертеп,
Полно рвать и метать,
Хватит лодку вертеть:
День на взводе — весна,
И гулять допоздна.

~ ~ ~

Василию Захарову, дорогому Человеку

Пригашенный вечер спокойно истаял,
Уснули и травы и дали,
Вздремнула осинок певучая стая,
И звёзды росу раскидали.

Укутала полночь в туман и в истому
Гулён и «страдания» рьяны.
И лишь бобылю — дергачу холостому
Не спится в перстах валерьяны.

Плывёт над низиной, задаренной снами,
Челнок — молодой двоерогий.
И разве согласишься, что воля не с нами:
В челнок и — за вёсла, и трогай!

ИЮНЬ

Александру Паркаеву

Пробилась на свет, затопила курганы
Такая большая трава!
На зорях гривастятся росы-беляны.
О, если б не хата-вдова!

Ей спится привычно, ни шатко ни валко:
Ни пир не тревожит, ни пост.
Ей годы пророчит кукушка-гадалка,
Её превозносят до звёзд.

А день ничего себе: точен и прочен,
Всему свой и срок и черёд.
Здесь даже осиновый тын у обочин
Что может от жизни берёт.

Он крохотки-корни земле загрубелой
Доверил. И сжалилась мать —
Зажгла, одарила листвою оробелой,
Торопится свадьбу сыграть.

На тын взгромоздившись, петух горлопанит:
Чего ещё — целая глава;
Шумит, как форсистый подвыпивший парень,
Которому всё трын-трава.

А солнце падёт — на часок разъединный —
В колхозных угодьях ничьих,
И рьяно и любо, до дня над лядиной,
Зовут дергачи дергачих.

Весь ласковый мир до зари от заката
Поёт, не давая заснуть.
И родина,
Если б не вдовая хата,
Была бы не горькой. Ничуть.

~ ~ ~

Полине Егоровой

В незапамятных местах
Побывать бы снова —
Во кустах, кустах, кустах
У костра ночного!

Не заради сгнуть с глаз,
Не с глухой гордыни —
Тишины расслышать глас
В дорогой пустыне,

Полудремы голубой
Для души накапать.
Посмеяться над собой,
Над тобой поплакать.

НА ПЕПЕЛИЩЕ

Евгению Носову

При тропинке безымянной —
Куст сирени.
Под кипреем над поляной —
Три ступени.

Три ступени в чистом поле —
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.

Светят, никнут, льются травы
У погоста:
Ни тоски, ни месть-отравы —
Время роста.

Не полынь — медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость —
Всепрощенье.

Но когда гроза взывает
На закате —
На ступенях зарывает
Память-матерь.

Зарывает, зарывает —
Слёзней, выше.
А закат горит, сгорает,
Гром всё тише...

Мать Скорбящая из ночи
Окаянной,
Не сжигай святыне очи
Над поляной.

В этой грусти беспечальной —
Не беспечность:
За тропею обручальной
Дышит вечность.

ОЛЬГА

*Ольга рыжа, что лиса,
На носу два колеса.*

Лет пяти, своевольник и выжига,
Чтоб допечь за стоянье в углу,
Я придумал стихи, что ты рыжая.
Ты в ответ помолилась во мглу.

Ни полрозгой «поэта» не вздрючила.
— Матерь Божья, дитя упаси!.. —
Ты мне песнями детство озвучила —
Диводарами страдной Руси.

Дорогая заступа-печальница,
В ту войну, под вражиной пятой,
Не пришлось мне безбожно отчаяться
Не с твоей ли молитвы святой?

— Свят Георгий, не дай разувериться
Младу воину в сутеми бед!.. —
И дерзнул я силёнкой помериться.
И остался. А врага нет...

Хоть Россия жульём обокрадена,
Хоть и сам я нагой и босой,
Всё — не трутень, не сволочь, не гадина —
Сын, омытый твоею слезой.

МОСКВА

Вадиму Семёнову

Ты до сих пор не пересох,
Свирепый друг, Соколий мох,
Наш тяжкий вздох.

Не позабыть: брели без сил,
Свинец над нами голосил,
Казался тьмою белый свет,
А главное — патронов нет.

Отбит наш приступ «штыковой»,
Висит «костыль» нал головой,
И за спиной —
Полк егерей глухой стеной.

Ни встать, ни лечь, ни повернуть.
Трясина: шаг ступил не так —
И всё, земляк,
Окончен путь.

А впереди на нас глядит
Немая синяя беда —
Вода.
Куда идти? куда? куда?

Мы оседлали островок —
Сто сажень вдоль, сто поперёк —
И залегли кольцом
В плывун,
В дурман-богун —
К врагу лицом.

Приказ: — Держаться до утра!
Стреляют только снайпера!
Друзья, не промахнись, а то...
— Зови Москву! Зови, браток,
Зови, радист!
Радист, радист, поторопись! —

А до Москвы — полтыщи вёрст,
В крови, в плену, слепых от слёз;
А у Москвы недобрый день,
Тяжёлый час,
Ей не до нас:
Над нею враг навис, как тень,
Там от его стальных когтей
Дрожит и дыбится земля —
Ложатся бомбы у Кремля.

Ты, мать, поймёшь своих детей,
Ты не осудишь нас:
Нам без тебя нельзя сейчас,
Нельзя без помощи твоей.
— Зови, радист! Зови скорей! —

И ты не укорила нас:
Пришла, нашла, спасла.
Последний, может быть, припас —
Патроны — принесла.
— Пока живу, живёте вы, —
Живём, хоть нелегко!..
А говорят, что до Москвы
Далёко-далеко.

ВСТРЕЧА

Марии Лавриковой

Три зимы, три лета врага
Денно-нощно воевал:
Гнал злодея любо-дорого
Мой соколик разудал.

Аж от Волги до Немегины
Одоле л кромешный путь.
Трижды пулями иссечены
Дюжи рученьки и грудь.

Дела сколь, что крови отнято
Растреклятою войной...
А сегоднечко, сегоднечко-то
Он пожаловал домой!.. —

Вечереет. Нет пригожего.
Не успеет неужель?..
Космы сивые взъерошила
Шалопутница-метель.

Разошлась простоволосая:
Пляшет с ветром трепака.
Смолкни, вольница белёсая,
Отступишь от большака.

Не остудишь — не пронизывай,
Было всё — не привыкать.
И глядит на поле сизое,
Всё глядит седая мать.

У завьюженной околицы
День-деньской стоит и ждёт.
Ошалело стужа колется,
А её сердечко жжёт.

Снег. Всё снег. Не приключилось ли
С ним оказии в пути?..
Вдруг на взгорке кони выросли:
— Летит! —

Побежала. Спотыкается.
Полушубчико — в сумёт.
— Мама!.. —
Чаянья сбываются.
Молкнет ветер. Тает лёд.

ОТВАЛЬНАЯ

Василию Цехановичу

Друже! Ждёт тебя дорога
В чужедальные края.
Ты молчишь спокойно-строго,
Горькой грусти не тая.

На чужбину не пеняя,
Разумеешь свой черёд:
Хоть медынь — в цветах Дуная,
А чужбина — горький мёд.

Так ли сяк — солдатам русским
Сгоряча велела мать:
Бедовали в пепле прусском,
А к друзьям не привыкать.

Бедовали — не пропали,
А дружить — с чего тужить?
И нельзя, чтоб мы устали
Жизнь беречь. Иди служить!

Воин, в битвах убелённый,
Мой и сын и командир,
Хрупок, злой и воспалённый
Кровью выпоенный мир...

В даль-дорогу, в путь, Василий,
Рад-не-рад, собирайся, брат!
И за межами России
Можно жить, как говорят...

Ты на крут-большак взираешь,
В страсти — трезвый, в буче — смел.
Кто подъём трубит — смекаешь?
Что в руках — уразумел?

КРЕЩЕНИЕ ЗАРЕЙ

Борису Самотокину

Горевший под сердцем семнадцать лет
Погашен проклятый — вынут свинец.
Распрямился профессор: — Держись, поэт!
В сорочке ты уродился, малец!.. —

Я запер душу на крепкий засов,
Я боль послал подальше: — Шалишь! —
И, стиснув зубы, десять часов
Всё слушал ночную шептунью — тишь.

И десять часов, десять подряд,
Как в омут, в небо глядел, глядел:
Свистел за окном проливной звездопад,
И серп-молодик нестерпимо желтел.

А тишь, как красный стоногий червь,
Шевелилась, шипела, в уши ползла.
И темени зябкой зыбкая чернь
Надвигалась, текла, наливалась в глаза.

Подрог я в охапке лохматой тоски —
Злу ворогу не пожелал бы того.
Да вдруг, когда уж не видел ни зги,
Заря коснулась окна моего.

За нею — солнце. И льдинки в глазах
Тихонько подтаяли, боль приструня.
И я веселился в тёплых слезах —
Встречал возвращение белого дня.

И встрел! И живу, осуждённый: — «Умри!» —
То бишь «не отбыл», до дна не иссяк.
Живу-поживаю, крестник зари,
И запросто вирши слагаю. За так.

ЖИЗНЕЛЮБЫ

Надежде Поляковой

В окопах с юностью прощались,
Своею кровью причащались,
Сжимая зубы,
Бок о бок с пустоглазой жили,
До дна тужили,
Но жили, жизнелюбы.

Припомнить страшно,
Как мы ходили в рукопашный
По чистому полю,
Переполюсь гневом и болью,
Глядя невидящими глазами,
И крестились в огненной купели!

Мы жутко бились:
И умирали, и убивали сами.
Но нежностью не оскудели,
Но русским сердцем не ожесточились.
А годы летели...

Мы смотрим страдными очами
С гордой грустью
На путь за плечами —
Лихой, неблизкий, —
Из захолустья
Аж на край света,
От Мсты до Узы — и до Шпрее!
От сельских школ — до университета!..

Русской былью биты,
Русской болью греты,
Мы стали чище и яснее,
Проще и честнее —
Почти счастливы, чуть ли не поэты.

Работяги сами, всех — делом мерим,
И полно верим:
Нет работы чёрной,
То бишь зазорной,
Честный труд не бывает грязным,
Но — только разным.

ЕГОРОВНА

Ирине Шалаевой

Откуда в ней столько живого,
У хворой, у робкой такой?
Сыскала целебное слово,
Пригрела шершавой рукой.

Узорный платок повязала:
— Меньшого-кровинушки дар! —
Нарезала хлеба и сала,
Спроворила вмиг самовар.

Присела. Вздохнула глубоко
Взяла ломоток — почерствей.
— Вечорась вещунья-сорока
Незряшно сулила гостей.

Да кушай ты, родный, сгодится:
Чаишко врачует с дорог.
У нас дармовая водица —
Погрейся, чай, крепко продрог?

Слыхать, побывал в загранице?
— Свёз Ване поклон и венок.
— Как спит он в нерусской землице,
Твой друг, мой последний сынок?

Поплакать бы всласть над могилой
Моих убиенных солдат,
Да нетути времечка, милай,
Сам видишь: дела не годят.

Одна. А сыночки — все восемь —
Домой не придут никогда... —
В трубе потешается осень,
За дверью дрожат холода...

Какая в ней сила сокрыта,
В ничьей в беззащитно-земной?
Ведь восемь десятков отбыто —
Не восемь полей за спиной.

Как поле добра и несказна,
Прекрасна, как спелая рожь,
До малости с жизнью согласна...
— Ты грейся, себя не тревожь!

ПРОСЁЛОК

Илье Садофьеву

Старинушка, тихий просёлок,
Тебе ведь под тысячу лет.
Страж ветер твой зорок и колок,
А воздух спрессован и сед.

Синь-зной напоён медопьяном:
Част-вереск полгода цветёт.
В июне, зарей обуянном,
Плывёт по закату восход.

Багровое в рани лиловой
Огромное солнце встаёт.
И сумрак в чащобе еловой
Тревожные песни поёт.

Мне всё тут своё поневоле:
Волнистый бегучий песок,
Замшелый валун в суходоле,
Свист змей и желны голосок;

Всё любо: густая прохлада,
Пора земляничных даров,
И дневка вздремнувшего стада,
И добрые морды коров;

И смех расторопных доярок,
И дымный пастуший костёр,
И грозы, летящие в яро
В иссохший от жажды простор.

Здесь воздух нахвоен и колок,
А ветер и горек и сед.
Не диво: ведь этот просёлок
Бежит, может, с тысячу лет.

Сутулит надёжную спину —
Испытано в жизни всего...
Но врос он в родимую глину,
И время жалеет его.

СВИДАНИЕ

Игорю Иванову

В такой большой, в такой ночи,
В миг многожданного свиданья,
Вы пойте, пойте, дергачи —
Ни мрака нет, ни увяданья.

Греми, немая благодать,
Ликуй, высокая равнина:
Твоя любовь не знает лгать —
Нагая плоть, как вдох, невинна.

Безгрешны спелые уста
В прикосновенье оробелом.
Мерцай, печальная звезда, —
Всего одна на небе целом.

Очей озёр не омрачишь
Своей космическою дрожью.
Плещись, гуляй, вещунья-тишь!
Венчай, камыш, зарницу с рожью!

Ни горевания, ни бед
У этой ласки безобманной.
Есть только радость, только свет
Да чистый цвет в росе медвяной.

ИМЕНИНЫ

Елене Морозкиной

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись —
Ты да я, да мы с тобой.

Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени — игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты — снопы огня.

Всё-то — песни даровые,
Всё желанное — возможно,
Всё несбывшееся — рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:

— Чья душа, изнемогая,
Остается так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?

— Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.

Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо —
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться,
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль —
Явь, как тихий хор берёз.

ИЮЛЬ

Татьяне Боголеповой

Сине увядают травы в красном вечере
За селом, за домом за твоим.
К чуду припадаючи, приумерим речи мы,
Два дыханья частых затаим.

Небо — с белоночья — звёзды поределые
Скупю теплит: пригодятся впредь.
Что нам тут предсказано? Что там — за пределами?
Жаль не знать, да некогда жалеть!

Дольный мир: потёмки пенятся сугробами,
Добрая-предобрая ворочается глыбь.
Да, прощаясь с дрёмными травными чащобами,
Гукает и всхлипывает выпь.

Есть о чём печалиться серой полунощнице:
Обступают, полонят стога.
Гнётся буйнотравье, об ноги полощется,
И о трактор чешет конь бока...

Почему ты вздрагиваешь? Далеко до осени —
Вкруг июль, безгрешен и погож.
Не чужбиной — родиной, не по мраку — по сини
Мы идём. Печалиться чего ж?

И впотьмах распахнута, русская-прерусская,
Не скудеет воля: сердце грей!
И река Великая, кроткая и тусклая,
Льётся за кострами косарей.

Скошенные травы тужат не по-нашему:
Жаль припевок, а не цвета им...
Гром ли, пострижение грянет в ночь-монашенку —
Ничему души не утаим.

ПАРТИЗАН

Антонине Ивановой

Хоть гогочите, черти,
Хоть плакайте, друзья, —
Не мне в наряд, поверьте:
Сегодня я — не я.

Мою отстойте смену,
Пропажу не браня...
Не знаю сам, как встрену
Подобие меня.

Куда меня девало,
Когда я запропал —
Забило поддувало,
Произошёл провал.

А в лазарет податься —
Валдай не под рукой...
Был я бывалый, братцы,
Вдруг — бац! И — никакой.

И тут тебе не с поезда
Вагоны кувыркать —
Не строгая, а боязно
Куплетами сверкать.

Велеречивым Псковом
Мне дар словесный дан.
А встретимся — за словом
Хоть полезай в карман.

Не тот ли толстый враг,
Фриц с мордою коня,
Вчера, с моих закорок,
Сглазил, чёрт, меня?..

Не выпеснить стихами,
Не выплеснуть в бою —
Под звёздными верхами
Себя не узнаю.

НА МАССАЖЕ. ШУТКА

Георгию Бакусову

Бахус¹, хитрый и живучий
Виночерпий у богов.
Подогрел меня, раскрючил
С поясницы и с боков:

— Занимай мою лежанку,
На массаже загорай!.. —
Кабы под бок псковитянку —
Был бы, братцы, вовсе рай. —

Отпечалилась кручина:
Знойно шкуре, хоть нагой.
Как тепло мне после «чина»
Дрыгать зяблою ногой!

Массажист, зело умеюч,
Не щадя своей руки, —
Свет Никола Алексеич —
Мне врачует мослаки.

Боль и хворь меня не взяли,
Все напасти в стороне... —
Крепкий Бахус, а нельзя ли
Изнутри погреться мне?

¹ Собрат по болести, вслед за которым меня клали на топчан для массажа.

НЮШКА-ЛЯГУШКА

Анне Григорьевой

Всякие-разные —
Недруг и дружка —
Все тебя дразнили:
«Нюшка-лягушка».

Дёшево падали:
В ум, без ума ли,
Надо, не надо ли —
В долг занимали.

Ты не перечила:
«Как же иначе?».
Брали «до вечера»
И... без отдачи.

Взявши целковые
«На одежонку»,
«Беси еловые»
Пёрли в казёнку.

Выкушав, с кряками,
Радость обману,
Словособаками
Лаялись в Анну.

Да не затюкали —
Сделали зорче:
Цапнет гадюка ли,
Вцепится ль порча,

Красну ли девицу
Ухарь обманет,
В месть ли злодеищу
Душу затынет —

Правого, винного,
Стара и мала —
Всех до единого
Ты понимала.

Совесть унижену
В нас выручала,
Девку обижену
С милым венчала,

Крест наваждению,
Милость змеюке,
Нет! осуждению,
Боль — на поруки.

Птица и гадина
Льнут к тебе, Анна!
Кем тебе дадена
Власть безобманна?

Что ж ты осталась-то
Старою девой? —
Сжался, пожалуйста, —
Жизни не гневай!

ДЕВОЧКА И УТРО

Настёне Григорьевой

*Серая головушка,
Светлая душа,
Щёлкает соловушка,
Музыку верша.
Песне милой птиченьки
Рад и млад и стар.
В клюве невеличеньки —
Занебесный дар.*

Анастасия Григорьева

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!

Ведь роса совсем ничья —
Грех её обидеть.
Можно диво у ручья
Повстречать-увидеть:

С голубою стрекозой
Огнецветь-муравку,
У берёзоньки босой
Розовую славку —

Невеличкую из птах
На хмелинке гибкой;
Луговинку, всю в цветах,
Привечать улыбкой.

Игорь Григорьев

Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.

~ ~ ~

Дарии Григорьевой

До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
И не ведаешь, где найдёшь.

Ну так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом.

Понимай: ни пера ни пуха!
Набирай глубину в глаза,
А итог не сдашь — не поруха,
Он — последняя наша слеза.

Не горюй — пустое занятие,
До итога пока далеко.
День-то, видишь, в самом зачатъе —
Пей парное его молоко.

Балагурь с плакучею ивой,
Нацелуйся с прохладой всласть!
Ты сегодня опять счастливая —
Дорогому поклоны класть.

~ ~ ~

Але Темирхановой

Ты мне кажешься полем
На предзимних закатах —
Молчаливою болью
Колосьев невзятых.

Ни души. Налетает
Ночь на крылища чёрных.
Мрак часы коротает
В твоих выспевших зёрнах.

Бесприютно и пусто,
Безучастно: «Одна я...» —
Шорох, тихий и грустный,
Как звезда зарева,

Тонет, впитанный небом,
Осыпается: сроки...
Стать могла бы ты Хлебом
Человеку в Дороге.

ГРИНЯ

Григорию Григорьеву

*Гуляют тени на горе,
Внизу река поёт.
Я ужю рыбу на заре,
А рыба не клюёт.
Ни уклея, ни пескари —
Не ловятся никак.
Зато я греюсь от зари!
А вы могли бы так?*

Гриша Григорьев

Свершилось: первый шаг ты в жизни сделал,
Залепетал от радости и — хлоп!
И шишку насинил на белый лоб:
Уж непривычным очень было дело.

Потрогал: больно! Крепко заскучал:
Всплакнуть бы в пору, да осудит папа...
А на полу — два солнечных накрапа:
Лиловый — с пряник, алый — малость мал.

«Возьму не все, возьму один — меньшей,
Пусть больший поиграет у порога...».
Вознёс ручонки, смотришь взросло-строго,
Лучишься тёплой махонькой душой.

А зайньки почти у самых ног
Барахтаются, мельтешат, резвятся —
Ручные: Грини вовсе не боятся.
Еще шажок — и рядом с шишкой — рог...

Мой человек, мой дорогой простака,
Шагай смелей — лиха беда начало!
А синяки — пожгло и полегчало.
Держи прямей! А синяки — пустяк.

Глянь: за окном желто от сентябрю,
Прозрачно, как родник, и шорохливо,
И ловит сквознячок в ладони ива,
Листву посоловелую ребрю.

И светит тень, и теневет свет,
И дышит день, большущий-пребольшущий,
Распахнутый, смеющийся, зовущий,
И далям ни конца ни края нет.

БЕЛАРУСЬ

Василию Захарову

Говорят про тебя, что ты — Белая Русь.
Так ли, нет ли — судить не берусь.
Но тобой причастился, голуба,
И зажгла ты Руси однолюба,
Одарив неразменной казною —
Жаркой «Бульбой», утехой лесною,
Пригожуньей моею жадобной,
Простотою твоей бесподобной;
Приоткрыла лицо вековое:
Ни покоя, ни слёз — роковое.

МЕСТНОСТЬ

Владимиру Васильеву

Рыжка-стежинка в горку течёт.
Речка вздыхает. Вброд переход.
Тронешь — из ледника слёзы-вода.
Над головою — жгуты-провода;
Мачты земли будто кара небес,
Сталью воюют и грозы, и лес.

Каждому пёнышку в родном лесу,
Всякой былинке в стогу на мысу,
Помня жар-цветени первокрасу,
Я в своём сердце припевку несу.

Тут, без шапчонки, на резвом ветру,
Я обучался любви и добру.
Здесь научился у стойких берёз
Плакать без слёз и смеяться всерьёз.

Где тот малец, оголец-сорванец?
Сколько за ним отстучало сердец!
Сколько пред ним поустало друзей!
Сколько исхожено длинных путей
В ласке разведренной, в хмури твоей!..

И оттого мне глухой уголок —
Неба псковского линиялый платок,
Горький дымок, перекрёсток дорог,
Отчий порог, запечаленный сад —
Жальче, тревожней, милее стократ.

Ты меня грела, стыдила, неслла —
Кто б мне помог, если б ты не спасла?..
Пламя твое мне дано и броня!
Ты ведь, как сердце, одна у меня.

ОЗЕРО

Дмитрию Епифанову

1. В январе на озере верный лёд,
Жгучая позёмка к плесу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вокруг озера — снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снега озера сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распелёнывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером и в глуби —
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру — чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь —
Не гаси, гуляючи, их огонь!

7. Липень и средь озера сух и строг:
Солнце — во! — припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься — в молоке парном.

8. В августе на озере сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.

9. В сентябре по озеру — жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.

10. В октябре на озере княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по берегам.

11. В ноябре на озеро — валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.

12. В декабре неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне —
Жарко загорюнилось о весне.

ЧАСТУШКИ

Екатерине Тимофеевне, Музе моей

Гришин хутор, молвить кстати,
Жил да был ещё тогда.
Двадцать лет сеструхе Кате,
Мне — семнадцать: жар-года!

Вёрст пяток всего до Узы,
Всей ходьбы-то ровно час.
— Надевай, Катюша, бусы:
Заждалось гулянье нас.

— Тронем, Ига! Я готова,
Только в зеркало взгляну...
Путь-дорога всклень медова...
А в Клину-то, ну и ну! —

Бил баян, басил басами,
Уверял, упрашивал:
Нагадайте счастья сами
От гулянья нашего!

Сонь едва спасала кости,
В подворотни пряталась,
В ноги тыкалась: да бросьте! —
К захмелевшим сваталась.

«Мы не бросим, мы не бросим
Песни любовные.
Мы пощады не запросим:
Не гораз виновные».

«Скобари не лыком шиты,
Не скобою стрижены —
Долей биты, кровью мыты,
Души — не булыжины».

«В мохе гукал голосина,
Голосочек — будь здоров:
Милка, рёвмя, голосила
От кусучих комаров».

« Осечище-зазнавало
Спотыкнулось на скаку:
Три часа одолевало
Две версты... по большаку».

«Дразнит Симново Скрылёво:
Ваши девки не того,
Мальцы — мелочь безрублёва. —
Дразнит — да, но кто — кого?».

«Пить бы Клину чай с вареньем,
Зелен-змия не вкушать,
Не швырял бы дурь камнем —
Песнопеньем — в благодать».

«Не хватайте нас за ворот,
Не валяйте дурака:
Хило Хилово — не город,
Узмень-Уза — не река».

И совсем другой, пугливый,
Не басило, тенорок
Под плакучей вечной ивой
Хвалит Узы прыть и прок.

«Болотеюшки-Болоты:
Мох, трясина да троста
Иншим — ржавы, нам — золоты:
Разлюбезные места».

«Хулить Печково беспечьем
Вам, ругатели, на кой?
Чем не жизнь с таким оплечьем —
Родной Узою-рекой?».

«Уж и вправду, други-братцы,
Больно ль, горько ль — сладко жить:
За дела двуручно браться,
Гореванье растужить».

«Не издевку, прочим между,
Выставляйте напоказ.
Эй вы, дарствуйте надежду,
А не то споём без вас!».

ПРОМЕЛЬК

Рее Шамурзиной

Милый промельк, миражная Азия, —
Дев таких на Руси не найдёшь.
Ты в ответ рассмеялась, как сглазила,
Наплескала весенний гудёж.

Жаркий смех блескнул, запронизывал,
Ветра песенней, марта синей.
Всплыли в памяти сумерки сизые,
Полдни мая без туч и теней.

А кругом-то — жарынь широкущая,
Злат-пески — желтизна, желтизна...
Радость слёзная, глупая, сущая,
Запоздалая причудь-весна,

Запалила нас жгучею жаждою
И вселилась в белынь-лебедей.
Но, бескрылый, о севере страждуща,
Греешь сердце у птичьих путей.

И не ведаешь, явь или кажется —
Дюны шепчутся: гость, восходи!
И нельзя, заробев, не отважиться
Зарыдать у тебя на груди.

НОЧКА

Виктору Бокову

Такую ночку проморгать —
Сплошное разорение;
Немая гладь —
Как благодать,
Заря — что озарение.

Лиловой ласки намело
Везде — вокруг и около.
Впотьмах светло
Горюн-село —
От месяца высокого.

Тень — на плетень,
А вьявь — сирень,
Свет-тишина певучая;
Антоновкой с укропом всклень
Настоены созвучия.

Костры —
Слетевшие листы —
Под сапогами ворохом;
Поёживаются кусты,
Печалуются с шорохом.

А марь свежа да хороша,
И в самый раз морозинка.
И, не греша,
Сверкнет душа,
Засветится, как сосенка.

О, сна печать,
Мне не смолчать —
Нечаянное чается...
Такую ночь повстречать
Не каждый день случается.

ОЖИДАНИЕ СНЕГА

*Фридриху Августовичу Гельманну,
любимому учителю*

Ожидание снега горяче —
Беспокойствие, сердцу страда...
Мало радости в аспидной туче,
Но, ядрёны, бодрят холода.

Воскресает душою и телом,
Ничего, что зальделый давно.
Завтра выюжное видится белым,
Брезжит свет, хоть покуда темно.

Здравствуй, ветер, мой друг закадычный,
Я готов, не перечу тебе —
Затужи, неуёмный и зычный,
И не будем дрожать о судьбе!

~ ~ ~

Тамаре Шатуновой

Приглушённые голоса,
Перестук железных колес...
Я уйду через полчаса
Из вагона в цепкий мороз.

В зыбко-знобкий ночной размах,
В передрогший звёздный опал.
Остужу в бескрайних снегах
Опьяневшего сердца накал.

Шалый ветер позёмкой со щек
Обметёт теплынь твоих губ.
Что путей, распутий, дорог
Канет в невидь, как дым из труб...

Вот сейчас, через перегон,
От меня, в огнях, угремишь —
Чтоб кому-то размять сон,
В чьём-то сердце выпеснить тишь.

КОГДА ЗАНЕПОГОДИТ

Анатолию Матвееву

Отсветил буйноцвет
Огненно и шало.
Было лето — и нет,
Непогодно стало.

Унеслись за моря
Горемыки-птицы.
Горек вздох ноября,
Тёмен лик водицы.

В шуме бора слышна
Робость и усталость.
Это осень зашла —
Ничего не случилось.

День как день, как любой, —
Просто зной в остуде.
Отсмеялась любовь —
Засмеются люди.

Не отбийся от рук —
Мало ли похожих.
В жизни вдосталь разлук,
Вдоволь встреч хороших;

Много дней и путей,
Вволю непогодья...
О житьё, порадей —
Натяни поводья!

~ ~ ~

Льву Малякову

Неотверенное счастье,
Нам загадыванное, —
К веку грозному причастье
Неотрадованное:

Без жаленья, без оглядки,
Без возвратушки...
Неотпразднованы Святки
К нам во вратушки!

Неотыгранное детство —
Думки на ветер.
Леса гулкое соседство
В жёлтой замяти.

Разгрустилась в небе флейта
Лебединая:
Кликунов-то, журавлей-то —
Над лядиною!

Разлетаются, звенящи,
Будто облаки...
Чище гущи, реже чащи,
Строгость в облике.

Уж недолго листьям литься:
Осень пеплится.
Мы идём. Что глаз, что лиц-то
Встречу теплится!

Сколько рук за час погожий
Поручается!
Сколько троп и раздорожий
Начинается!

Мир доверчивый развесил
Стоголосицу:
Вволю сказок, вдосталь песен
В память просится.

В сердце — нежная отвага,
Не кружение.
И от замысла — полшага
До свершения.

~ ~ ~

Валентину Иванову

Когда изнеможем, идя напролом,
К мечте не прибьёмся в пути горевом —

Одни, продымаясь на ветру, замолчим,
Другие, горя, задури́м, закричим,

У третьих взойдет пустоцветно зерно:
«На свете на белом и солнце черно...».

Четвёртые — бедный усвоим урок:
«В смиренном терпении — мудрость и прок!»

А мы с тобой свидимся, жарко вздохнём:
— Огню не впервой обжигаться огнём!

~ ~ ~

Елене Аграновской

Непролазь-сумётами —
Нет на них креста —
Берега замётаны.
Стужа да троста.

Незачем над озером
По снегам брести,
Колющую прозелень
Согревать в горсти.

Спят кусты под кручею,
Снега холодней...
Стыну. Жду я лучика
В сутемени дней.

Всё ловлю за вьюгою
Вешний клич воды,
Всё брожу, аукаю:
Где твои следы?

НАДЕЖДА

Валентине Горянской

Осень скрала стёжки, спутала,
Разожгла пожар студёный.
Небо невидью окутала;
Сваха-тишь — пред молодёной.

В плат узорчатый наряжена,
Ветра ждет невеста-верба:
Заплутался сужен-ряженный —
Замело тропинку, верно.

И развиднело, и смеркнуло —
Не свистят крыла зазнобы.
Облетает в заводь-зеркало
Золот лист червонной пробы.

Ничего не надо девице:
Ни колечек, ни запястий;
На одно она надеется —
На ненастье.

~ ~ ~

Рае Воронцовой

Земля пофасонила малость
И с маем — в цветник молодой...
Куда её хмурь подевалась!
Наверно, сбежала с водой.

Сплыла, растопилась... не надо:
О стуже забыто. Забудь.
Денёк-то сегодня — отрада
Тебе, не кому-то-нибудь.

Над всякой живинкой Светило
Являет свою правоту:
Черёмухе ветер-грустило,
Смеясь, примеряет фату;

Врываются в самое небо
Монахи-стрижи озорно;
И нежит, могуче и немо,
Великая пашня зерно;

Поёт, восходя, медуница:
— Я землю, любя, голублю... —
Один я не смею склониться
К тебе, дорогая: — Люблю!

ПО РОСЕ

Алексею Никифорову

Зателенькала синица.
Дым — с озёр.
Окунула заряница
Крылья в бор,

Алой грудонькой лелеет
Крутояр...
Накаляется, белеет
Красный шар.

Ни утрюминки на небе —
Светлы сны.
Плачет чибис в юном хлебе —
От весны.

Завладела радость птицей
До краёв;
Да и нету над пшеницей
Соловьёв.

Шаг шагнёшь — и сразу грянет
Праздник рос:
Что ни роска — в тыщу граней
Светоч-тост.

И сверкает чибис в поле,
Чернокрыл...
Даже боязно — от воли
Да от сил!

~ ~ ~

Илье Авраменко

Без крестов, без колоколен
Вечер всклень наколоколен,
От заката — свет.
И невольно или вольно
Мне до доньшка не больно —
К вёдру ран как нет.

Причащаюсь в красном лесе:
На душе ни зла, ни спеси —
Воля да грехи.
Стою что или не стою —
Не чужой веду верстою
В поводу стихи.

БАБА ПАША

Прасковье Григорьевне, бабушке моей

— Перестань зудеть, короста:
Где пирог тот? Нету, брат!.. —
Было ей за девяносто,
Мне — три года: стар и млад.

Я облаял бабу Пашу,
Потому что был щенок:
— Сама лопай простоквашу,
А мне гони пирог!

Баба ряба, морда козья,
Головенка из трухи...
Не дери мои волосья,
А не то сложу стихи!.. —

А потом в обнимку плачем,
Старый-малый — ты да я,
На печи в раю горячем,
Не разлить водой, друзья.

~ ~ ~

Валентину Краснопевцеву

Знать, нельзя иначе —
Не от нас напасть, —
В хохоте и плаче
Стужи взяли власть.

С октября-грустилы
До апрельских вод
Никакие силы
Не растопят лёд.

Никакие ветры
Снежищ не спалят,
Не угреют ветлы
Зеленой наряд.

Ветлы онемели,
До колен седы.
Никакой капели
Не взойдут следы.

Дни темны и кратки,
Ночи без луны,
Вихоря нападки
Жгуче холодны;

На равнине — благо:
Жмёт — и крут, и скор, —
Нагрозил, бродяга,
Насугробил гор;

В безответном поле
Кружит: «Береги-ись!..»
В сердце поневоле
Пригасает высь.

Зимно, бездорожно,
Мёртво наяву.
Только разве можно
Погасить траву?

~ ~ ~

Владимиру Клёмину

В который раз одно и то ж,
В который —
Течёт, цветёт, дымится рожь
По косогору?

Родимый край, в который раз
Июля россыпь?
Сто лет назад, вчера, сейчас —
На зорях росы.

Всё тот же галочий галдёж
Над придороженьем...
Так почему же не найдёшь
Земли дороже?

Так почему же холодны
Края чужие?
А здесь — глухие валуны
И те живые,

И каждый сторбленный плетень
Певуч и волен...
Всё те же песни!
Тот же день!
Всё то же поле!

ОДА

Анне Утлинской

Берёзоньки, я вас ли не люблю,
Ваш тихий лист, мои утревший ноги!
Не я зажёг его, не я спалю —
Озябший путник на большой дороге.

Рождённый и захваченный землёй,
Её крутой, неодолимой властью,
Обласканный слепой волчицей — мглой,
Не свой я безучастному ненастью.

Я друг-приятель ваших сыновей,
Сгорая, озаривших мрак бесстрастный.
Идущему любить ли ветровей,
К зиме самодержавный, да напрасный.

Не я, по веткам листвою прошёл —
Лихой любовник, вестник первопутка,
Одетый в вашу кровь — в багряный шёлк,
Целующий вас яростно и жутко.

А я бреду у века под пятой,
Не попираю сбитых непогодой.
Берёзоньки! Я — вешний понятой,
И к вам приду в апреле с вешней одой.

МАРЬЯ СТЕПАНОВНА

Марии Васильевой

Здравствуйте, дорогая Марья Степановна!
И давненько же с вами не виделись мы!
Завернем-ка, заглянем в минувшее заново:
На висках наших иней недалней зимы.

Пусть морозит! Не в маях, занежась, мы прожили, —
Зимовеев и стуж не чурались ничуть.
Вкруг да окол ходили, а всё не прохожие, —
Что пришлось, то прошли. Разве это не путь?

В чемоданах у нас — только песни да присказки,
Ни диковин заморских, ни звонкой казны.
И хотя накопитель глядит на нас искоса,
Пусть косит себе. Худо ль кошли не грузны?

Пусть косит. Мы лихую добычу не прятали,
От людей не таились в нощи яко тать.
Хоть пора бы, да вам не расстаться с ребятами;
Хоть — на прозу года, мне от рифм не отстать,

Ничего. Перебьёмся. Стихами утешимся.
Примем чашу греховной: за Русь не грешно.
Расседлаем Пегаса и на землю спешимся,
На которой без веры — не всё, как должно...

Вот и ночь пролетела. И ясная ранница
Молодыми крылами коснулась окон.
Не любитель я, Марья Степановна, кланяться,
Но примите, примите мой земный поклон!

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

Юлиану Крейну

Дрёмная низина,
Голубой настой.
Стужа отгрозила,
Лес — перед листвою:
Мглистый и пушистый,
Влажный и вальяжный.

Лунный ломтик тонкий,
Первая звезда,
Безмятежно-звонкий
Пересвист дрозда
У речушки-дружки,
В сини, на осине.

Тёплая прохлада,
Откровенный час.
Так немного надо,
Сердцу — в самый раз:
Бьётся ровно, словно
Ладно всё и складно.

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Николаю Григорьевичу, отцу моему

*Я вышел на улицу утром вчера, —
Чуть лилися струи рассвета.
Повсюду уж осени скучной пора
Сменила отрадное лето.
Мороз серебристую ткань на земле
Соткал. И уныло глядели
Деревья в холодно-недвижимой мгле,
И листья на них онемели.
Над сумрачным лесом, в туманной дали,
Поднявшись в небо высоко,
Неслись, безумолку крича, журавли
Куда-то далёко-далёко.*

Николай Григорьев

Мой родитель — чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..

Муза строго взимала оброк:
Ночь бессонну за рифму — на стол.
Хоть бы рупь сгонорарничал впрок.
Так и тешился — гол как сокол.

У чугулки, бывало, сидим —
Разорется ветер в трубе,
Да за хутором волк-нелюдим
Забавляется — жутко себе!

Уговаривал батя меня:
— Ты зимы плакунов не суди,
Ты их слушай, испуг отстраня, —
Пригодится ещё впереди.

Ведь и ветер, что ночь натрясла,
Тот же серый бродяга-бирюк —
Дети стужи. Блажат не со зла:
Ненароком отбились от рук... —

Март срывался с февральских удил,
Жахал синью в трескучий мороз!
И родитель меня уводил
В белолесок на праздник берёз;

Берестяный корец подносил,
Приговаривал: — Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! —

С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня — в партизанах — седлал,
И ретивый осёдлывал стих...

Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя — твой юнец.
Но безмолствует Муза... навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

ГОСТЬ ПОЧИВАЕТ. ШУТКА

Ночлежнику Егору

Тряслись простенки что есть мочи,
И я дрожал, хоть был неслаб.
Зане среди тихони-ночи
Забуркотал страшенный храп.

Рыдала веселунья-теща,
Крестил пупок безбожник-тесть,
Петух с насеста прыгнул во щи,
Жилец — в окно, забыв про спесь,

Белым лицом чернела Света,
Мяукал кот на все лады,
И с макаронами котлета
Сбежала со сковороды,

А пёс Мамай — бульдог отважный —
Пролил бесстыдно вензеля,
Когда, хрипучий и протяжный,
Тот храп вонзился в кобеля.

В дому скандал, да всё не горе,
Поскольку в храпе нет беды;
А коли так — валяй, Егорий,
Греми, тудыттвою-туды!

ВЕРЕТЕНЬКА

Нине Чечулиной

Есть на Порховщине
Речка Веретенька.
Зяблик на лещине
Там свистал и тенькал.

Крохотная пташка:
Пёрышки да кости,
Алая рубашка,
С прозеленью хвостик.

На ночь угнездится
Под листком ореха,
В горсти уместится,
А душе — утеха.

Так и Веретенька,
Ластынька-водица:
Узка, коротенька,
А не надивиться.

Заросла кугою
От ключа до края,
Выгнулась дугою,
Кроткая такая.

Сказывает байки
Мальм пескарятм,
Нежит без утайки,
Лилейки не спрятав...

Много рек я знаю,
Помню даль-походы:
Плавал по Дунаю,
Мерил Вислы воды,

Лазал в Одер — красный,
От огня и крови,
Ведал Дон бесстрастный —
Колыбель любви,

Объ меня качала,
Колыхала Волга,
Сердце разлучала
Ширь-Нева надолго...

Но лишь детства речка,
Звонкая светлана,
Для меня навечно —
Песня-необмана.

НЕЖДАННЫЙ ВЕЧЕР

Антонине Абросимовой

Угомонилась гулкая разлука,
Густой и долгий догорел закат.
И косари с распаханного луга
Неторопливо по домам спешат.

Прозрачный сумрак ласково и влажно
Окутывает землю, ночь верша.
И кто-то в полусне запел протяжно,
И песне той отозвалась душа;

Отозвалась, раскрылась, всколыхнулась —
И самому не угадать себя:
Как будто снова младость возвратилась
И в грудь вошла, теплыню прознобя.

И любо жить, и боязно от воли,
И песня в полусне, и ширь во ржи.
И кажется, немое шепчет поле:
Дыши, люби, надейся. И сверши!

ПОЭТЫ

Сергею Поликарпову

Мы воли и огня поводыри
С тревожными раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие — который век! — зари!

Сердца грозят глухонемой ночи,
За каждый лучик жизни в них — тревога,
И кровью запекаются до срока,
Как воинов подъятые мечи.

Взлелеявшие песню, не рабы —
Единственная из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда. И нет иной судьбы.

Нас не унять ни дыбой, ни рублём,
Ни славой, ни цидутой царской чашей:
Курс — на зарию!
А смерть — бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.

РЫБАКИ

Игорю Лотарёву

*Рыбак рыбака видит издалека.
Сам рыбак в мережу попал!*

Русские пословицы

Одиночка-хуторянин,
«Гений Игорь Северянин»,
Досточтимой славы хват,
Я тебе ни сват, ни брат —
Просто тёзка, просто рад.

Хоть не все мы, руссияне,
Игоряне-Северяне,
Все — певцы Руси-реки,
Взабыль, вбляжь ли — рыбаки:
Ловим на воде круги.

Сколько бурь и зорь на страже —
В умиление, в форсе, в раже —
По житью-бытью плывём:
Плачем, буйствуем — поём,
Веря: ближе окоём!

Мне ль не ведать, в самом деле,
Мой челнок хватали мели:
Ни оттуда, ни туда,
Мёртва стылая вода,
Дрёмна тусклая звезда.

Словно скряги подаянье,
Слов ознобных трепыханье:
Горицвет, навет, ответ...
На душе пощады нет —
Ни прозаик, ни поэт...

Что попишешь: было — было,
Да зашло за жизнь — изныло,
Утекло в закат глухой,
Стало пеплом и трухой.
Нынче песни над рекой,

Именинник-плёс в наряде
И круги на вольной глади:
Забавляется форель!
И вселяет лад в свирель
Достославный менестрель.

Не представишь: век продлился!
Стих остался, шум пролился,
Так что просим на Парнас!
Хоть король — не царь у нас,
Сан Поэта не угас.

ТЁЗКИ

Алексею Пешкову

— Тебя как зовут?
— Лёнька.
— Тёзка мне.
— Ну? А ты — какой человек?

Максим Горький
«Страсти-мордасти»

Ещё в городском переулке
Блаженствует сытая сонь
И грозы, тревожны и гулки,
Не взвихрили ярый огонь.

Потея над жирными щами,
Копя, ненавидя, дрожа,
Ещё торжествуют мещане —
Смиренная русская ржа.

Ещё человечьему горю
Таить свой неистовый крик.
Но ты уже первую зорю
Зажёг в конуре горемык.

Толкнул почерневшую дверцу
И ветер, и солнце позвал,
Своё соколиное сердце
Принес в безутешный подвал.

И Лёнька кричит тебе: — Тёзка! —
И тянет ручонки: — Пришёл!.. —
И светится мать, как берёзка,
И жить ей сейчас хорошо.

И день разгорается вешний,
Сжигает кромешную мглу.
И страсти-мордасти поспешно
Хоронятся в тёмном углу.

ВЫБОР

Владимиру Шустину

Ставни глухие манят меня:
«Душу сокрой!».
Ложь лобызает, нож прислоня:
«Любимый мой!..».

Злоба шипит: «Ужаль врага —
Ты или он!».
Страх нашептывает: «Метнись в бега —
Будешь спасён!».

Скалится иго: «Все — на цепи,
Смирись: надень!».
Благоразумье лезет: «Скопи —
Про чёрный день!».

Бессовесть ловит: «Не бойся греха —
Простяки простят!».
Маета вздыхает: «Жизнь — лиха!
Чему ты рад?».

Любовь берёт в полон, не спрося,
Вяжет: «Молчи!».
Гонит ветрам навстречу стезя,
Посох вручив.

Ясное солнце жжёт, не щадя:
«Враз продублю!».
Свищет стохвостый бич дождя:
« Выйди — врублю!».

Грозы велят: «Хоть кто ты, хоть с кем —
Крепче держись!».
— Здравствуй! Веди меня: я — насовсем,
Жизнь!

БОЛЬ

ЗИМА 1993

Заплакали берёзы:
— Зима нас подвела,
Крещенские морозы —
Три градуса тепла.

Заледенело сердце:
В ретивом перебой —
Любовью не согреться.
— Россия, что с тобой?

РОССИЯ

*В том строю не признавал я многое,
В этом строе отвергаю всё.*

Неволя, недоля, чужбина —
Ни слова, ни зги, ни следа.
Да русская ль это ложбина?
Да жива ли в речке вода?

Крадусь неприкаянным вором
Чужою родной стороной.
Стеной — чернота перед взором,
Кромешная тьма за спиной.

«Куда ты? Куда ты? Куда ты? —
Колотится жуть на виске. —
Тебе только горести рады
В немом подневольном леске.

Неволен размыкать неволю!
Недоля, хоть криком кричи!...».
Но — мёрзлому дышится полю,
И падают звёзды в ночи.

ГОРЕМАЯТНАЯ РОДИНА

Горемаятная родина,
Горемаятные мы:
На пустых холмах — болотина,
На болотине — холмы.

Или вера сгнила начисто?
Или верится до дна?..
Даже пляшется как плачется:
Плач — под пляску, мать родна!

Да когда же нам наплачется:
Во пиру судьбы-тюрьмы?
Неужели не отважиться,
Встав, напомнить: кто есть мы!

~ ~ ~

В селе петушья куролесица,
Морозный дым над ним повис.
Надкушенный покровок месяца
Скупые крошки сеет вниз.

Как вздох — калитки оробелые,
Как трепет птахи в кулаке.
Берёзам снятся ночи белые
Да пенье вёсел на реке.

Берёзам долго, горько страждуя,
До лета время коротать...
А Русь везде, у пня у каждого, —
И злая мачеха, и мать.

~ ~ ~

Ивану Лыцкову

Тебя принимая, себя не жалею,
За волю неволей плачу.
С поклоном пожму пятерню снеговою,
Прижмусь к ледяному плечу.

Хоть небо твое чужевысей не выше
И к стуже — закатный костёр,
К тебе, моя Вьюга, пришёл я — не вышел:
И руки, и душу простёр.

Застыну, оттаяв над бездною гладкой,
Поверю в весеннюю Русь,
Вздохну ненароком, заплачу украдкой
И вновь над собой засмеюсь.

~ ~ ~

Звездопада Августовна — ночь
И во сне глубоком воздыхает:
Любит и жалеет, быть не хает
И зарёй готова изнемочь.

Неулыба Краснолеснич — бор
И в угрюмой думе беспечален,
Жизнью к земли-матери причален,
Да минует чашу приговор!

Перекрёсток Большакович — путь
И в полночной бездне верен Богу:
Указует по звездам дорогу,
Лишь бы не споткнуться как-нибудь.

ВНУКУ

Решишь: распутье — не распятые
И не проклятые.

Душе захмаренной — раздолье
В широкополье.

Даль русская не наважденье —
Освобожденье.

Дерзни: бездомье, страх, усталость —
Такая малость.

Добро и зло — за вехой строгой:
Руками трогай!

СЫНУ

Ненастье обескровило зарю:
Всё — сутемь, ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю —
Бери, какая есть, о выюгах помня.

Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Гляди и знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи — груз ненадобный в пути.

Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройденной мерой.
Тревожся, горячись, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдешь, уверуй.

Пусть выюгам — выюжье: снежная страда,
Хмельные песни, холода шальные, —
Они не навсегда, они больные.
Ведь выюги что? — Грядущая вода.

~ ~ ~

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.

Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.

Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я расплётным ртом приник,
Но глух сухой ручей...

По лысым валунам скольжу:
Ни струйки — с той весны.
Тревожно память ворошу:
Как мало там казны.

Осталась горстка чабреца
(Бывало, пили чай)
Да незабвенного лица
Прощальная печаль.

Прошли немалые года,
Затих кровавый гром.
Чего я только не видал
На свете горевом!

Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить —
Копить копеек медь.

И Русь не та, и сам не тот —
Иные времена!
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.

~ ~ ~

Не шелохнется, не встрепенётся
Отгулявший своё полынок.
Никого — ни синицы, ни солнца,
Только тлен торжествует у ног:

«Ясноглазые угли ослепли,
Отроняли горячую дрожь:
Ни огинки в заиненном пепле,
Не надейся, костра не зажжёшь.

Не задышат холодные травы,
Отлюбили, отверили в май.
Журавли покорённые правы:
Допивай, допевай, улетай.

Поаукает память скорбяще
И ударится грудью о лёд:
Слышишь, в пенной безропотной чаще
Стужа синие песни поёт?

Видишь, в скошенном, в скованном поле
Сумрак тёмные точит ножи?
И уже ни заботы, ни боли
Горицвету у чёрной межи...».

Лес распахнутый, лист отзвевший,
Птицы смолкшие — сердцу родня,
Я люблю этот мир замеревший,
Ожидающий красного дня!

~ ~ ~

До чего же не невесёлая картина:
Тошно чавкает расквашенная глина,

Кажет рёбра отоцалая ракита,
И не небо — а всего большое сито.

Только стужа, день погожий и не снится.
Прослезило — негде глазу приютиться.

Плотный сумрак наплывает тихомолком,
По окружью рыщет ветер сизым волком.

Над канавой — ни листочка, только прутья.
Будто в сказке, вороньё над перепутьем.

Где ж то золото, что в гимнах пламенеет?
Где ж то солнце, что зимой и летом греет?

Вместо жар-знамён — пожухлые рогожи.
А пойдی найди роднее и дороже!

СВЕТЛАНЕ

Заря, заряна, заряница,
Червонокрытый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.

Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой —
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

ВЕЧЕР

В полумраке синелапом
Гаснет день у рыжих прясел.
Тихий вечер красным крапом
Серы облаки окрасил.

Завлекательней гармоник,
В дымной дрёме чернотала
Голос пробует шелонник —
Сизогубый запевала.

Голубеюща прохлада —
Словно сбывшаяся небыль...
Ничего душе не надо,
Кроме родины и неба!

~ ~ ~

Немы и пусты
Знобкие поляны.
Голые кусты
Зыбки и туманны.

Над плакун-травой,
Над водой и мхами —
В синьке ветровой
Звёзды ворохами.

Полночь без луны,
Путь мой без дороги.
И ничьей вины,
Никакой тревоги.

БЕЗВРЕМЁНЬЕ

Сник тростник. Испиты соты.
Песни лета отбренчали.
У тебя — свои заботы,
У меня — свои печали.

У ночи — одна поблажка:
Проморозит сердобольно,
Ей без солнышка не тяжко —
Неживым ничуть не больно.

Ну а нам-то, тёплым, сушим,
С гулкой дрожью в чуткой коже,
В бездорожной тьмище-тьмущей
Быть-то как же? Делать что же?

Время воли, света, смеха
Утекло в тоску заката.
И сквозит в душе прореха,
Мне уже холодновато.

И тебе ничуть не лучше:
Пристывает к сердцу слякоть.
Отнимают небо тучи.
Так и хочется заплакать!

~ ~ ~

Сушь — земля сырая,
Горькие укоры,
На тебе сгорая,
Жгут тебя моторы.

Тишь твоя отпета
Яростным оралом,
Слышишь?.. — Нет ответа
Ни в большом, ни в малом.

Только дрёму будит
Жаркая остуда.
Загляделись люди,
Позаждались чуда.

Никуда не деться,
Верить неизбывней.
И врачует сердце
Обещанье ливней.

Накипают стыни,
Пригинают ветры,
Да в печали синей
Тужат километры.

Смотрят раздором
Вкрадчиво и добро,
Чтоб горячей дрожью
Садануть под рёбра!

~ ~ ~

Льют лиловые потёмки
Луговой настой.
От заката — полкаёмки
В тишине густой.

Буйнотравье будто выюга,
Спящая в ночи.
Не докличутся друг друга
В пожне дергачи.

Не шелохнется спросонка
Спеющая рожь...
Что, родимая сторонка,
Что ты стережёшь?

ПЕРЕД РОССИЕЙ

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишенных веры.
Её беда — не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином —
От зябкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук)
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскупилось.
Её напасть — не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

ПРОБУЖДЕНИЕ

На свадьбах тешились давно ль
Налимы здесь да волки.
Уже крещенская юдоль —
Погода, кривотолки.

Февраль отголосил и стих.
Март накопытил рытвин.
Сугроб течёт, как белый стих,
Дыша прозрачным ритмом.

Невразумительны слова,
И образы тревожны,
Но точны, точно дважды два,
Как завтра — непреложны.

Прощай, метельная праща!
Чуть жив от зимней неги,
Искря, стена и трепеща,
Сосёт ручьишко снега.

~ ~ ~

Чтоб сердечней биться
Сердцу-ветролюбу,
Сбыл я руковицы
И в придачу шубу.

Для большой дороги
Валенки — морока:
В них как в гирях ноги —
Не находишь много.

А без малахая
Обойдусь подавно.
Не темней, вздыхая, —
Во поле так славно!

Март мосты разводит
На уснувших речках,
Солнце колобродит:
Жары в недалечках.

Что ж ты морщишь губы,
Укоряешь бровью?
Мы ведь — лета трубы,
С кипяtkовой кровью.

День меня — в охапку,
Даль к ногам припала:
Голову — не шапку —
За такое мало!

ВОСПОМИНАНИЕ

Ошалев от листьев красных,
В заревой уйти туман!
Празднуй, око, сердце, празднуй:
Осень — правда, не обман.

«Осень, ветрена зазноба,
Золотая трын-трава,
Мы с тобой гуляем оба
На поминках Покрова.

Ты горюн-тоску остудишь
И спалишь красы изъян,
Не обманешь, не осудишь,
Дашь обнять цыганский стан!..»

Сочиняю, сочиняю,
Хмелен песенным вином.
Сердце рифме подчиняю.
Осень пляшет за окном!

С печки бабушка Васютка
Слазит: — Тоже мне поэт:
Лезть к цыганке! — вздумать жутко
Одурел в пятнадцать лет?

Ну, твой батька — гибло дело:
За стихи ему б — дрючка!
А куды ж досель глядела
Манька-мать, моя дочка?

Ну их, вирши, — дымку с дымкой,
Не транжирь карандаши!.. —
Невдомёк карге любимой:
Песни — дар её души.

~ ~ ~

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада...
Что зима — не твой бы лёд.

Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смиляется бор...

Никуда я не пойду:
Разве жалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.

Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

ВЕСНА

Ещё встаёт мороз на лапах длинных,
Но почкам — сроки:
Насторожились в стылых сердцевинах,
Теплеют соки.

Ещё хрустит стеклянная дорога,
Лаская сани,
Но холм дремучий — с солнечного бока —
Вздохнул в тумане.

Пока что небо не синее поля,
Лес однозвучен,
Но полны тихие ладони полдня
Теплом колючим.

И патриарх-сугроб у свахи-ели,
Души не пряча,
О ветреной зазнобушке-метели
Тихонько плачет.

ДИАНЕ

Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.

Сыплет, щедро и лилово,
В воду пяточки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.

От поздна до новой рани
Милосердный час —
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.

Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.

Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.

ВЕРБА

Верба тонкая, верба ломкая,
Нефорсистая и негромкая

Под ненастьем дрожала-мокнула,
Облетела вся, да не дрогнула;

Не взъярилась от рёва зверева,
Не отчаялась, не разверила...

Нынче правит здесь нелюдим-январь.
Я пришёл к тебе через хвиль и хмарь

За дровишками — разложить костёр.
Не попомни зла, я принёс топор.

Мне нельзя никак без тепла-огня.
Я не всю тебя... Ты прости меня.

ПЕСНЯ

Ходит мороз за окном,
Посохом в стену стучит.
Снегом закиданный клён
Целую ночь промолчит.

Долго катиться луне,
Ясно сугробам гореть.
Что ж не заглянешь ко мне —
Песню улыбкой согреть?

Робкую песню мою,
Тихую хату в глуши.
В замороженном краю
Снеги поют. Ни души.

Над целиной — пелена,
Что там за ней? — угляди...
Наша дорога длинна:
Всякое будет в пути.

Всякое будет? Ну что ж,
Встречу, коль в двери войдет!
Вечер сегодня погож,
Тени ведут хоровод;

Вечер куржою опал,
Выискрил тропку и лог...
Я тебя, нежная, ждал,
В сердце носил и берёг.

Радость придётся забыть,
Вьюга друзей отпоёт,
Но не устану хранить
Светлое горе моё.

МАРГАРИТЕ

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.

Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».

Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща — до зимы ль в июне.

Насвистел зелёной сладких околесиц.
И зацвёл им липень — жар-медовый месяц.

Если мёд со хмелем — так бродить и горкнуть:
На крестинах август пляшет у пригорка.

Отгулял и — в небо с первой журавлиной.
И осталась роща сентябрить косынкой,

Праздновать с дождями слёзно октябрины
Да тянуть ладони до углей рябины;

Помнить, как сулил мил не любить другую,
Как её зазимок пригревал нагую,

И роптать с поклоном в знобкую округу:
«Сватается ветер за белянку вьюгу».

ОКТЯБРИНЫ

В затемненной желтизне,
Тихий луч даруя,
Кто-то тужит обо мне,
Да не разберу я.

Кто-то в зябкий вздох огня
Фукает сторожо —
Для меня искринку дня
Пестует в ладошках;

Робко в пегую межу
Сеет зёрна лета.
Я не гордый, я гляжу,
Кличу. Жду ответа.

Но безмолвствуют уста
Хмурого тумана,
И вздыхает грудь куста
Ласково и рдяно.

В чаще теплятся глаза
Незабудки кроткой.
Оборотишься назад:
Гаснет день короткий.

То ли слёзы, то ли дождь
С лап еловых льётся.
В иглах дрожь. И сам вздохнёшь:
Как тут не взгрустнётся?

Призамрёшь, оторопев,
Будто спотыкнёшься.
И — немой — звучит напев:
Полюбил — тревожся!

~ ~ ~

Прошла поспешно мимо,
И — в вагон,
И от огней — в потёмки, в ночь простылу.
Летит за перегоном перегон,
И нет конца чугунному настилу.

Как синий нож, как приговор суда,
Холодные глаза отулыбались.
Кричат, поют, хохочут провода:
«Расстались —
Вместе насовсем остались!».

НЕПОГОДА

Беспокойней, горше, жгучей год от году
Вижу — до ветринки — милость-непогоду.

Будто в ласку мая, в стужу окунаюсь.
Иль зову «что было»? Иль — что было каюсь?

Ведь и так бывает: было, да не сбылось,
И не надо помнить, и не позабылооь.

Вечером тревожным, знобким листопадом
Мы, боясь безлюдья, шли с тобою рядом.

Дождевые всхлипы в темноте чернели,
И молчали звёзды, и роптали ели.

Я и сам не знаю, что с тобой случилось:
Ты к плечу прижалась, робко мне вручилась,

Осветила душу хмельным жарким светом!
Может, непогода виновата в этом?

Непогода, темень — нам какое дело.
Разве мог я тронуть сдавшееся тело?

Всё оно звенело, как струна тугая.
В плащ тебя закутал, будто ты нагая...

Ты прочтёшь и бросишь: «Песенка уныла».
Ничего, не кайся: ты ведь не любила.

~ ~ ~

Живёшь... и вдруг увидишь:
Тебя здесь больше нет.
Поклонишься. И выйдешь
Из дома в белый свет.

За дверью передряга —
Метельная беда.
Пройдёшь четыре шага,
А сзади — ни следа.

Зиме какое дело,
Что всё твоё тепло
Осталось в хате белой.
Зима гуляет зло.

Ни звать, ни знать не надо,
Кто прав, кто виноват, —
Ведь нет тебе возврата,
Дороги нет назад.

В седом пожаре вьюги
Кричит зальделым ртом,
Заламывает руки
Тебя прогнавший дом.

~ ~ ~

Было, нет ли? А коль было —
Сколько лет прошло с тех пор!
Ты меня тогда любила:
Помнишь майский косогор?

Всё на свете скоротечно.
Люб-траву сентябрь пожёг.
Ты промолвила беспечно:
— Вышло времечко, дружок. —

Прослезилась. Воздохнула:
— Жизнь есть жизнь, хоть плачь, хоть пой.
Белой ручкой трепыхнула:
— Не судьба, тихоня мой.

Маем память не баюкай,
Не догонишь, не пеняй... —
Не догнал я, взятый вьюгой.
Вьюга спета. Май есть май.

АИСТ

Подымаюсь, картечь пересилия,
Сбитый аист, сведённый с ума.
У меня за спиною — Россия,
У меня перед грудью — сума.

Я лечу, замирая и падая,
Переломанных крыл не щадя.
Мне не вспыхнет рука зябковатая
За слепую стеною дождя.

Крыльям бить, перья об ветер комкая,
Десять тысяч — сквозь мачеху — вёрст.
Мне пока не до клёкота громкого,
Не до выпевших в полночи звёзд.

Мне октябрь, крепколап и бездумен,
Оголтело хохочет в глаза.
И на вербе, у замерших гумен,
С хрустом хворост жуёт с колеса.

Что ж, хватай побуревшее крошево,
Загораживай горестный путь,
Налетай, гогочи, разворошивай
— Веселись. Да про март не забудь!

~ ~ ~

Выдохлась метель, зима устала.
Затемнели мартовские снега,
И передвижение застряло:
Ни в дровнях, ни пёхом, ни в телеге.

Ни в шалман пойти, ни побираться,
Подаянья клянча Христа-ради.
А к тебе и настом не добраться.
Ну и ну: кружу, как волк в окладе.

ЛАРИСЕ СПИРИДОНОВОЙ

Ты мне растерянно призналась:
— Душа в разлуке потерялась... —
Но — потерялась, значит — есть.
Спасибо за благою весть!

Ты на меня не поглядела
Ни горячо, ни охладело.
Но две слезы спешат расцвести.
За жгучую спасибо честь!

Ты рук моих не разомкнула,
Меня — перстом — не упрекнула,
Но кротко укротила спесь.
Спасибо чуду, что ты здесь!

Ты, с горькой думой в поединке
По мне не правила поминки...
Печальный свет в моей судьбе,
Дай Бог тебе! Дай Бог тебе!

ОПРАВДАНИЕ

Я прочь ушёл, я в ночь ушёл,
Но верю свято:
Не угасает красный дол
Окрай заката.

И не дано мне, не дано
В тебя не верить,
Пускай недавно иль давно
Закрылись двери.

Что было, быть тому до дна —
Ничто не сплыло.
И я один, и ты одна.
Я пью уныло...

Ты — вещий звук в моей судьбе
С немым укором.
Я не могу прийти к тебе
Прощённым вором.

~ ~ ~

Звезду обманчивую стёр
Ладонью чёрной гром.
На месте горестном костёр
Горит в лугу сыром.

Цвети, огонь, кричи, немой,
Желтей, чужой дружок;
Зови, сули, вели, не мой, —
Не я тебя разжёл.

И мне от твоего света —
Ни проблеска утра.
Мой огонёк сгорел дотла
Давным-давно: вчера.

Иная жизнь, чужая высь
Зажглись в моей тени.
Дружище-гром, остановись,
Замри, повремени;

Не заливай крутым дождём
Сухие головни:
Пусть на пожарище моём
Взойдут благие дни!

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Не надо горьких глаз, не надо тихой грусти:
Пройдут года, и, ждать устав, беда
Меня разлюбит и к тебе отпустит.
И я вернусь.

Но ты скажи, куда?

Не надо бодрых слов — и в них тоска всё та же:
Растерянность, испуг, незримый плач.
Люби меня, чтоб сердцем был на страже.
И я вернусь.

Но ты мне срок назначь.

Не надо укорять, и ни к чему кориться —
Метельный путь мой без того не гладь.
Храни себя, не верь, что ты вдовица.
И я вернусь.

Но как тебя узнать?

Вернусь! Лишь свой обет, любимая, исполни,
Когда уйду туда, где Вечный бой.
А этой ночью, расставаньем полной,
Дай волю сердцу.

Я ещё с тобой.

ТВОЙ ДОМ

Светлыню росной,
Полночью беззвёздной
Под свист бурана —
Домой вернуться никогда не поздно,
Всегда не рано.

Он верен свято —
В зной и в стынь заката,
Он терпеливый.
Да и тебе твой дом — не с краю хата,
Ты — им счастливый.

Не в срок вернёшься,
От сует очнёшься,
В себя заглянешь,
К родному сердцу сердцем прикоснёшься —
Кого обманешь?

Не кайся слёзно:
«В жизни многовёрстно...» —
Нет оправданья.
Домой вернуться никому не поздно
Без опоздания.

ВЕСЕЛИНЫ

Полине Саввиной

Дорогая кума,
Тётка добрая,
Давай выпьем вина,
Закусим воблою.

Погляди в небеси,
В высь туманную:
Льёт Медведица синь
Разливанную.

Катит месяц, смеясь,
В просо звёздное.
На олешнике ясь,
Вязь морозная.

В эту ночь только петъ
Над стаканами.
Отпирай-ка подклетъ,
Напой — пьяного.

ВО ВРЕМЕНА ГОДА

Светлане Андреевой

За цветенью

Не думай, что я обездолен,
Что сбился с веселья давно:
Поскольку я лирикой болен,
Мне сердце беречь не дано.

Июнь отсвистел сладкогласно,
Июль отгремел, отсиял.
И поле на жатву согласно,
И красен закат, а не ал.

Туман и печалинка — с пожен,
Белёсые росы как лёд.
Ещё окоём не тревожен,
Но лето уже устаёт.

За листопадом

Берёзы, дымя, побурели,
Споткнулись о ржавую медь.
Кого они только не грели,
И стало им нечем гореть.

Ни песен, ни жар-полушалка —
Лишь осени стылое дно.
И стало им лета не жалко.
И стало им всё — всё равно.

Зияют в чащобах напасти,
Дрожат, ознобя пустыри...
Не рвись, мое сердце, на части —
С разлукой меня не мири.

За вьюгой

Нечаянно вдруг загрустит.
Нечаянно ль? Что вопрошать!
За вьюгой любимые лица,
И некого к сердцу прижать.

Минувшее давнее-давно
Некстати начнешь ворошить:
В былом не отрадно — отравно.
И полночь. И чем дорожить?

Ни света, ни слова, ни друга —
Лишь вопли да темень вокруг...
Сестра милосердная вьюга,
Прости мне: дай руку, мой друг!

За паводком

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.

В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа — криница
В ладонях полян и полей.

И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день — разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!

ДИКИЕ ЯБЛОНИ

На ветру заохали
Две лешуги рыжие:
Хорошо ли, плохо ли —
Только мы и выжили.

От живого хутора,
Кроме нас, — ни деревца.
Хорошо ли, худо ли,
А живым — надеяться.

ВЕРБНАЯ НОЧЬ

Тишь-теплень усердная —
Снеготай.
Суботея вербная —
Скоро май.

Выси разгорожены —
До звезды.
Тропки и дорожины —
Без узды.

Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Думки прихорашиваются
В благодать.

Рощица-берёзица
Ждёт. Молчок.
И в воде от месяца —
Большачок.

ПОД ЗВЁЗДАМИ

Да сколько ж их в морозной роздыми.
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями,
Над головой и у земли.

И все тихохонько качаются,
Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.

Они поют и сказки сказывают
И, не спрося, в полон берут.
Зовут, зовут, и путь указывают,
И зачинаются, и мрут.

Вдруг замелькает странно-новая,
Вот вещая оборвалась...
Притихла гладь семиветровая,
Дивясь на инееву вязь.

А луг повит снежком, как росами,
А темь по-летнему густа.
И, может, в этой щедрой россыпи
Зажжётся и твоя звезда!

ВЬЮГА

Разойдётся — прикончить могла бы,
А уймётся — нежней незабудки,
Своенравная русская баба,
Веселунья, с которой — не шутки.

Выше леса колени взлетели,
Заметался подол сарафана...
Полюбилося мне буйство метели
Крепко-накрепко, может, и рано.

Рано, нет ли — печалиться поздно:
Ни гордыни в душе, ни корысти.
И за тучами — высь не беззвёздна,
И молитва — в разбойничьем свисте.

Не обделят, ничуть не обманут
Налитые огнём её губы.
Все сомненья надеждами станут.
Станут снега послушны и любы.

Вьюга скроет ухабы и взлобки —
Всё привычное переиначит.
Сдавши спину ей, зябкий и робкий
Не слезами — ледышками всплачет.

Ну а я, зимогоров потомок,
Заслоняться от лады не волен:
С первых зорь до последних потёмок
Гореваньями вьюжными болен.

Заунывные песни тревоги,
Хоть в трубе, хоть на целой планете,
На тропинке любой и дороге —
Все о свете, о цвете — о лете.

~ ~ ~

Петру Выходцеву

Дом ты мой, дом пустой,
Не обжитый, не угретый,
Потихонечку стой,
На хозяина не сетуй.

Не зови, не кори:
Всё не гладко, всё не просто.
С-под ладони зари
Не гляди на перекрёсток.

И не верь медовым снам:
«У поэта — денег звонко!».
Не загрохает к нам
С городским добром трёхтонка.

Мой печальный простак,
Не транжир я, зря пеняешь, —
Лунный медный пятак
На рубли не разменяешь.

Ты не юн, я не стар,
Но одной с тобой закваски:
Слава Богу, не устал
Верить в бабушкины сказки.

Не сумел до сих пор
Разувериться в жар-птице.
Я как твой бедный двор:
Недосуг загородиться.

Пообвыклось. И впредь
Перебьёмся без ограды:
Нам души не жалеть, —
Чем богаты, тем и рады.

Эх, душа дарова,
Горевальная отравы.
Все слова — трын-трава,
Отшумевшая забава.

Помолчим у ворот:
Скоро в долгую разлуку.
Всё придёт, всё пройдёт.
Дай-ка ласковую руку!

~ ~ ~

Андрею Ярмульскому

Спит земля, огромна и печальна.
Звёзды. Бесприютно. Беспричально.

Проложила ночь сквозь чёрный омут
Млечный Путь, а не дорогу к дому.

Забытие и тьму на перекрёстке
Ветер стережёт, сырой и хлёсткий.

Филин — и рыдает, и хохочет,
Будто гулко бредит призрак ночи.

Снизу — ропщет жухлая осока...
От звезды погреться! Да высоко.

~ ~ ~

Чем, берёзки, вы лето обидели?
Перемены в беспечном лесу!
Стало вкрадчиво в буйной обители,
Поднебесные выси — внизу.

Зашаманит крут-сиверко к вечеру:
«Красно лето сгорело вчера.
Осень рядом. Сочувствовать нечему.
Вспышка цветени — лишь мишура...».

Пресным холодом густо пропитанный
Лес, как праздник отгулянный, пуст.
Над болотиной кустик ракитовый
Ронит лист, будто жалобу с уст.

Небо тучи сушить понавесило:
То их выжмет, заплавав, то вдруг
Рассмеётся по-летнему весело,
Кинув пригоршню солнышка в луг.

И земля, на Покров овдовевая,
Вновь затеплится от желтизны.
И смешается радость несмелая
С гулкой грустью озябшей желны.

Вроде, большего нет и не надобно:
Весь ты счастьем дышать занемог.
Но в распахнутом горле негаданно
Ворохнётся солёный комок.

Зажалеешь, сольёшься с окраиной,
А чего тебе жалко, Бог весть.
И у ног огонёк неприкаянный —
Колоколец — не может отцвесть.

ЛИРИКА

Утекают звонко
В бурые глубины —
Сизая сосёнка,
Рудые рябины...

В жаркие золота
Схвачена округа.
И душа болота —
Будто сердце друга.

Сиротливый кустик
С юркою синицей
И грехи отпустит,
И воздаст сторицей;

Топору навстречу,
По-людски робея,
Встанет: не перечу!
Но зачем тебе я?..

Час речей победных
Канул. Лес — без шапки.
Вздохи листьев бедных
Тоненьки и зябки.

Настежь захолустье —
Вскрыты кладенницы.
Над стеклянным устьем
От тиши звенится.

И перед разлукой,
Горестной и длинной,
Бьётся над излукой
Причет журавлиный.

И совсем беспечно,
Не жалея дома,
Смутна, сине-млечна,
Шамкает истома:

«Выстынь: станешь другом
Вкрадчивым дремотам!..».
Взбодрен и напуган:
Что — за поворотом?

~ ~ ~

Разжалей, простив обман,
Лжедрузей, как дым напрасных.
Пусть попляшет балаган —
Октября угарный праздник.

Ты ведь тоже сам не свой —
Друг, лихой и угорелый.
Отплясалось — песню спой,
Благо в рифмах наторелый.

Слава Богу, днесь и впредь
Песне русской нет сожженья.
Обернётся в золото медь
Твоего стихотворенья!

У ПРИЧАЛА

Старый отче, тёплый берег,
В пору трудную
Не заждался? Не отверил
Сыну блудному?

Хоть не ранницей — под вечер,
Вот... причаливаю.
Не взыщи, хвалиться нечем
Обпечаленному.

Коль признаться между нами —
Не прославился,
А геройством и чинами
Отзабавился.

Не серчаешь? Вот и ладно.
Почеломкаемся!
Дай обнять тебя, прохлада,
Радость ломкая!

Что молчишь, сестра-беляна —
Берёзиночка?
Накрывай на стол, поляна,
Как же иначе?

Синь бездонную псковскую
Всю не выплакала?
В светлом сумраке тоскуя,
Песню выкликала...

Сеет месяц сизый пламень —
Блеск и сажика.
Мягко-мягко, плавно-плавно
Осень вяжется.

В грудь непрошенно стучится
Грусть длиннушая.
Чу! Волчат зовёт волчица
В чуткой пуще.

Выдра плещется, русалка ль
Одинокая?
Щука — в заводи, как палка,
Тигробокая.

Под волнами, под веками —
В дрёмной прозелени
Спит горюн Вороний камень
В Тёплом озере.

Свет-князя и чернь-мужланы
Смолкли, выпенились.
Отболели злые раны,
Слёзы выпреснились.

Тихий брег в туманной дымке,
Лежень ласковый,
Распечаль, размыкай думки
Складкой-сказкою;

Ставшей сказкой, вещей былью —
Доли мерою.
Я, рождённый русской болью,
В раны верую.

ВИШЕНКА

Светлане Молевой

Маем ласковым горько обижена?
Кипень-платьем не бело-бела?
Что же ты закручинилась, вишенка,
От подружек в сторонку ушла?

Им цветется и просто, и песенно —
С ветерками шуршат на заре.
Ты одна пламенеешь невесело,
Будто белый пожар на бугре.

Не приветила сиверка вешнего,
Льётся грусть из-под строгих бровей.
Ждёшь кого-то иного, нездешнего?
Иль не можешь забыть суховей?

Я ведь знаю: ты мне не доверишься,
Не раскроешься сердцем ничуть.
Но люблю у высокого бережка
В чистом пламени жарко взгрустнуть!

Всё горит над забытыми крышами
В несказанной печали лицо...
На мою невозвратную Вишенку
Ты похоже, горюн-деревцо.

~ ~ ~

Хорошо с умытым полем
На заре перекликаться —
Песней росной, сердцем полным
От унынья отсекаться.

Самого себя к награде
Представлять, ядрёна лапотъ, —
Просто так, души заради,
Безрублёво петь и плакать!

НА СИНИЧЬЕЙ ГОРЕ

Семёну Гейченко

Стихи стихают. Погасают дали.
С Россией распрощались журавли —
Откалялись, отпели, отрыдали,
И небу нету дела до земли.

Заваривает снежное причастье
Монах-ноябрь костлявою рукой.
Печаль и пепел. Хладное бесстрастье.
Бескровный день. Кладбищенский покой.

И не избежь зальделым клёнам дрожи,
И не избыть распятие кресту.
И сумерки на вашу жизнь похожи,
И долог путь к запретному Христу.

Но это только миг, лишь промельк смутный,
Встревоженной души невольный вздох:
В глубинах нашей веры бесприютной
Неугасимы ни Поэт, ни Бог.

Цветут Святые Горы вкруг Синичьей,
Как жёлтые венки вокруг венца.
И всех, сюда взошедших, без различий
Сам ветер причащает из корца.

~ ~ ~

Заревою былью
Светится простор:
— Потягаться с хвилью
Выйди на бугор.

Не чужбинник-странник,
Рвущийся в юга,
Ты — Руси избранник:
Что тебе вьюга!

Рьяны вихрей хоры,
Загляни сюда,
Благо все и сборы —
Раз-два и айда!

Да и недалече
Песенный разгул ...
Круто выгнул плечи,
Голову угнул.

Жарко хороводит
Снежная крутель,
В рученьки заводит
Лапушка-метель:

— Дочь я царь-тумана!
Мой ты навсегда!..
— Мне жениться рано,
Да и ты седа.

Игорь Григорьев

Вечная девица,
Сбавь крутую прыть:
Мне ещё крутиться,
А тебе крутить!

ВЛАДИСЛАВУ ШОШИНУ

Песней с прозой не наспоришь,
Не налиришь нежность зыку.
Без тебя, мой светлый кореш,
Что б я пел? Под чью музыку?

Может, спетый и охрипший,
До скончания дороги
Переводов бедным рикшей
Волочил бы еле ноги;

На заезженной шоссейке —
В «обещающих» поэтах —
Бодро стряпал бы затейки
О безоблачных рассветах;

Или песенкины тексты
Поставлял бы для подмостков;
Али складывал бы тесты
Для рифмующих подростков...

Мой радетель, мил-товарищ,
В дни замалчивания песни
Голубой мечтой расхмаришь:
— От сомнения воскресни! —

Укоришь, незло и умно:
— Промолчи в подвох молчанья,
Не услышь хваленья шума —
Жди земного величанья.

Не убавить, не умерить
Черногроз и краснозорьев...
Да тебе ль стихам не верить
В храме лирики, Григорьев!

Тесной ночью ль, вольным полднем,
В час глухой ли злополучный —
Отзывайся вздохом полным
На удел души беззвучный;

Не пеняй на небылицы,
На загадки без отгадки:
С Русской Музой породниться
Можно только без оглядки.

ГУСАЧКА

Гусачка, Гусачка,
Комарья кусачка,
Ни броду, ни лавы;
Канавы да ямы,
То кривы, то прямы.
Ни чести, ни славы.

Гусачка, Гусачка,
Отрада-болячка
На лоне природы;
Строги твои дебри,
Дики твои вепри,
Темны твои воды.

Гусачка, Гусачка, —
Запева-заплачка,
Вьюны, да гадюки,
Да «Вшивая горка»¹...
Ништо здесь не горько
Мне. Кроме разлуки.

¹ Брусничное место в Клину. Наягодничавшись, бабы там «в голове искались».

~ ~ ~

Сухое поле алчно воду пьёт,
А ливень то отхлынет, то припустит.
И — хоть гроза — душа моя поёт:
Мне, грешному бродяге, не до грусти.

И свята заурядная вода:
Самой небесной влагой совесть мою.
Иду и всё! Не всё ль равно, куда:
Везде — земля и небо надо мною.

ЛИСТОВОЙ

Бывает так: июлем знойным
Берёза срывает желтый лист —
И сразу станешь беспокойным,
И ясный день не так лучист;

Весомей дымка, небо строже,
Задумчивей шатун-камыш.
И ощутишь на жаркой коже,
Как выстывает в чаще тишь.

Услышишь: кроткая осина
Бросает в дрожь приют рябой;
Крадется следом образина —
Угрюмый ветер-листоной

Увидишь: табунятся птицы,
Вода стеклянней — глубь видна.
И сожаленье угнездится
В душе, распахнутой до дна.

И хлынет жар от сердца к горлу:
«Хоть лист, хоть царь — один вокзал...»
И в полдень врежешься, как в гору,
И спросит Совесть: «Не узнал?».

ОМУТЫ

Ивану Шевцову

Молкнет, хоронится ночью
Живность дневная окрест,
Воплю лешажьему волчью —
Рупором выставший лес.

В заводи, чёрной как дёготь,
Грузно полощется сом.
Воду сгущённую трогать
Боязно мальцу веслом.

Яростно в тонкое днище
Ломятся лапы коряг.
Мокрой глухой бородицей
Шапку спшибает бредняк.

В уши пугливую небыль
Сеет сторожкий камыш.
Омут от звёздного неба
Только рукой отличишь.

Сердце толкается гулко,
Зябким жарком обдаёт:
Качкая дедова «тулка»
Часто осечки даёт.

Рявкнула ночь от душлета,
Щёлкнул взведённый курок...
Хоть не разбудишь рассвета —
Вспугивай тьму, паренёк!

АВГУСТ

Озаренье. Смиренье. Прощение.
Сожаленье о мае легко.
Далеконько-далёко цветение,
И снега далеко-далеко.

Кроме бед, что судьба наморочила,
Кроме ран незажившей войны —
Доброты и добра средоточие:
Ни суда никому, ни вины.

Расстоялась погода, разведрилась —
День по чистому счёту хорош:
Даже самая малая ветреность
Не качнёт отягчённую рожь.

Даже белая тучка отчалила
С окоёма в иную страну.
Даже зряшная горесть-печалина
Не нарушит в душе тишину.

Не нарушит: сомненье порушено —
Как волна над зеркальным прудом.
И под небом земля — не отдушина:
От хором до хоромины¹ — в дом.

¹ Хоромина — домовина, гроб (псковское).

ГОРЬКИЕ ЯБЛОКИ

Виктору Малинину

На доброй пашне, в широкополье,
Олешник вымахал да лоза.
В саду крушиновое раздолье
Глумится в горестные глаза.

Тропа лосиная, сыроежки,
Разлопушился вовсю репей.
Как непогашенные головешки,
Шныряет гуща тетеревей.

В тени цикута — пьянее, глуше,
На взлобке лысом — солнечный гнёт.
И вдруг тебе, как смутную душу,
Чащоба яблоню распахнёт.

Узнал? Припомнил босое детство?
Сад в белом смехе, в обнимке нив —
Совсем не чьё-то, твоё наследство,
Тебе завещанный белый налив.

Усладу-радость, прильнувшую к дому,
Бери, бывало, хоть из окна.
Тебе, тебе — никому другому,
Она тебе была вручена.

Ручей зачахший. Замшелый мостик.
Крыльцо — два камня по старине.
«Я рада, здравствуй! Надолго в гости?
Ну, как жилось на стороне?

Чего ж срываешь ты шишки с ели?
Я зла не помню: добра не жаль.
Ведь снова август — плоды поспели:
Иди ко мне — снимай урожай!..».

Пылает полдень, а мне морозно:
Как в суд с поличными привели.
Не надо, сердце! Ещё не поздно
Просить прощения у земли.

ЕЛЕНЕ НОВИК

Сестра печали, луч во тьме слепой,
Теплинка мая — иволга певуча.
Без песни нечем жить тут: плачь, но пой,
Молчанием глухим души не муча.

Отрады нет ни сердцу, ни уму
В заморском иступлении ретивом.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?

Каким, каким? Смятенье усьмири:
Своим, своим! — не сводничать бесстыдно.
На жизни — ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.

Полна разбоя, страха и тоски,
Быль как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста — кресты, и в тьме — ни зги...
Пой, ты, как песня, здесь необходима!

ЗИМНЕЕ

Тычет в глаза безмолвная гладь:
Гори, пока не угас!
Ни обогнуть, ни обогнать,
Никуда не запрятать глаз.

Нага, холодна, как вир без дна,
С канюком седым на кресте.
Только она, одним-одна,
Куда ни метнёшься — везде.

И два кургана светят на ней,
Точь-в-точь раскрытая грудь.
И вросших в землю глухих камней
Никакой зарёй не вспугнуть.

Никаким костром, никаким огнём
Не размять немой белизны:
И ночью и днём, ни ночью ни днём
Не размыкать до самой весны.

С ноября до марта равнине стыть
На ветру, калёном как нож.
Ни позабыть, ни разлюбить,
Ни взять, ни отдать всю дрожь.

Она насовсем, она в тебе —
Душа под коркою льда.
И каждая льдинка в её судьбе —
Твоя ледяная беда.

И каждая слёзка в кротких очах —
Солёное море твоё.
Причастись: веснеет в зимних ночах
Озябшее сердце её!

В СНЕГОПАД

Фёдору Абрамову

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу.

Когда апрель с морозом заодно:
Притих, забыл своё предназначенье.
И стонет, тонет голубое пенье,
Ложась на зимнее зияющее дно.

Так небывало: валит снегопад,
И огневает ломкий клич кукушки —
Как будто разгорается набат
На голой обессоченной макушке.

И, немо вопия, взметнул старюка клён
Кривые руки к серому восходу:
«Даруй, апрель, зелёную погоду!».
Но глух апрель — куржою убелён.

И снег лежит. Не хочет плакать снег.
Хочет снег: «Сожги меня попробуй:
Прохоложу — не запоешь вовек!» —
И кроет землю белою хворобой.

Да, не до песен тёплому комку
В тисках у холодюги-великана.
Но твоему горящему «ку-ку»
Уже поверил юный лес, Весняна.

Веди, буди от ледяного сна —
Земля должна, земля ещё задышит.
Зови, бедуй: тебя поймёт весна
И солнце огнepёpое услышит!

ВЕЧЕРНЕЕ

Я иду. Один. Рядом с вечером.
Вечер — сам по себе, я — не сам.
На приглашенном, на расsvеченном
На лугу — широко глазам.

И пронзительность, и улыбчивость,
И тревога прижилась в них.
И поёживается отзывчивость,
Утекая из сердца в стих.

Росы в ноги со всхлипом ластятся —
Слёзы ночи во сладость дня.
Дивы давние гулко бластятся,
Привораживая меня.

И подстёгивая, и пугаючи,
И веля: иди! — и держа.
И гульбит, грустя припеваючи,
Забурьяненная межа.

Воля, каторга ль — всё тут кровное,
Крест нещаден и свят — ты сын...
И — с самим собой — в поле ровное
Выхожу: один на один!

~ ~ ~

Бездонный берёзовый омут,
Густой полонящий озон.
И раны житейские тонут,
И годы ничуть не резон.

Идётся свежо и шажисто,
Навстречу — ликующий гул.
И сам, захмелевши от свиста,
Пускаешься в майский загул!

Ни вешки нигде, ни приметы.
Замшелая бедная даль,
Ты под ноги мне первоцветы
Кидаешь! Неужто не жаль?

Тихоня, зелёная буря,
О, как ты добра и крута:
Плакучие руки лазуря,
Чуть что, не придержишь кнута.

За шиворот цапнешь простецки
И вжихаешь: «Вот тебе! Вот!..».
И тут же наивно, по-детски,
Пофукаешь: «Всё заживёт!

Здесь путь твой — ничуть не прогулка,
Отсюда не пустишься вспять...».
И немо — и гулко-прегулко,
И знойно — и дрожь не унять.

То мчится листва — без движенья,
То замерла — крылья вразлёт...
Какое в тебе наважденье?
Какой колдовской приворот?

А может, не очень бы верить?
Но вера, как финка, остра.
И что ты там: явь или ересь —
Хоть в красные когти костра!

Ни края кругом, ни причала,
Как волны, кипят соловьи.
И нет ни конца ни начала —
Лишь ты да надежды твои.

~ ~ ~

Двадцатый век с десятым веком
Живут бок о бок, не тужа:
Моторный смех над Чудским берегом,
Глуши косматая душа.

Что ни распутье, то распятие,
Что ни распятие, то прогресс.
Благословенье и проклятие,
Как близнецы, похожи здесь.

Холмы, низины, буераки,
Дорога — чёрт её завил,
Столбы — извечные бродяги,
Антенны ввысь, как зубья вил.

Их музыка слышнее хлеба,
Их копий стари не унять.
Грозят Земле? Свергают Небо?
Кому же знать! Кому же знать.

С ПОСОХОМ

Я чегой-то сник в печали,
Призавянул, приугас:
На возлюбленные дали
Сколько дней не пялю глаз.

Сколько ночек-звездопадок
Не скитаюсь по земле.
А ведь я ли был не падок
Жечь костры в кромешной мгле.

А ведь я ли, вспомяните,
Был до зорек не охоч:
Не жалея сна и прыти
Бёг за утром через ночь.

Был на «ты» с дремучим лесом,
С крутовьюжьем и грозой.
Вдруг, спознавшись с модным стрессом,
Стал, ей-богу, сам не свой.

Только плакаться не буду —
Прозябать заздорово:
Возвернусь к родному чуду,
К сладкой горести его.

Будь хоть что, не будет хуже:
Посох в руки — и айда!
В колеях мутнеют лужи.
Здравствуй, подушка-вода!

Лист помре — скосила осень
Ноябриною косой,
Лысый луг травы не просит:
Усыпление и покой.

Небо немо и широко,
Ветру зябкости не жаль...
Приюти меня, дорога,
Вразуми, зараспечаль!

НА ДОРОГЕ

Бреду невольно или вольно,
В пути упарился ль, продрог,
Но мне довольно, мне довольно
Своих скорбей — чужих тревог

И этой низменности серой,
И этих безучастных вёрст...
С какой тоской, с какою верой
Глядит в глаза мои погост!

Пугает, мает, заклиняет
Не преисподней за чертой —
О грешных днях напоминает,
О жизни брэнной и пустой.

В каком соблазне исступлённом
Гульбит священная земля!
И пляшут в празднестве зелёном
Её нетрезвые поля!

Хрипят леса, озёра страждут,
Ревут сверхвольтные столбы...
И вновь со старью в споре страшном —
Два детища одной судьбы.

Феномен века — побируха,
Такая ж странница, как я,
Пророчит, праведно и глухо,
На перепутье бытия:

— Твоя далёкая дорога
Горька, да горе дарово.
Как боязно не верить в Бога!
Как страшно веровать в Него!

Я и сама не шибко верю —
Видать, прогневался Господь:
Курю и пью, дорогу мерю,
Скрываю злость, лелею плоть.

Продленья дней не молишь — ловишь,
Сама себе — бедой-беда.
А ты! Не пьёшь? Не прекословишь?
Не копишь зла?
— Да как когда...

— Хоть грех, да жисть — не хата с краю:
Себя никто не перевозмог...
Ну, прощевай. Благословляю.
Пойдёшь — дойдёшь. Спаси ты Бог!

ХУТОР

Григорию Дмитриевичу, деду моему

*К нам приехала бригада –
Две змеи, четыре гада,
Рубахи красны, портики в клетку –
Выполняют пятилетку.*

Частушка

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.

Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не надейся.

Не воспрянет. Зряшны стоны.
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!

Ошалели лжевладыки:
На костёр — святыне книги!
На дрова — дворы и риги!

Налицо труды «бригады»:
Лебедой побиты гряды,
Светлу солнышку не рады.

Человечьей полон муки,
Дом заламывает руки:
Печь не разогреют внуки.

Три родимых человека —
Валентин, Василий, Лека¹ —
Не вернутся с Битвы Века.

Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.

Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?

¹ Валентин Тимофеевич Григорьев, Василий Петрович Григорьев,
Лев Николаевич Григорьев — мои братья.

~ ~ ~

В сини месяц спелый
Свесился над логом.
Голосок несмелый
Светит по дорогам.

На сто раздорожий
Он, как перст, единый.
До того хороший!
Так необходимый!

Не тебя ли ищет?
Не меня ль жалеет?
Встречу ветер свищет:
«Светит, да не греет».

ПРОВОДЫ

Людмиле Зыкиной

Потому что я сам осенний, что ли,
Мне осень всего милей?
Догорает смирнехонько моё поле.
Пригасает под горький зов журавлей.

Приникает. А они курлычут, курлычут...
А им усыпление — эхом — в ответ;
А их тонюсенькие берёзки кличут,
И одинокая девушка долго глядит вослед.

Взметнула руки к безучастному небу
И не шелохнется. Некуда? Не взлететь?
Стоит чужая желанная небыль,
Погружённая в прозеленённую медь.

А журавли всё выше, всё глуше,
Всё глубже тонут в прощальную тишь.
И вот уже нет их, лишь звон колокольный — в уши;
И что в глаза наливается — не углядишь.

И я, затерявшийся, заробелый
И, может, чуточку сам не свой,
Гляжу, гляжу на платочек белый,
Застывший над непокрытою головой.

И зачем она? И о ком — так истово,
Так неусыпно, так целиком?
А вечер из-за осинника багрянолистого
Слизывает дорогу вкрадчивым языком...

А поле грустит о крылатых рыдальцах,
О судьбе своей, о весне, о нас.
Но белый флаг в терпеливых пальцах
Трепыхнулся, снизился. И угас!

ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ

Теперь ты песен прежних не поёшь,
По-новому смеёшься и горюешь —
Ты городу свою красу даруешь.
А я всё тут, всё на себя похож.

Пашу и сею. С мужиками пью.
И хоть бы что без городского быта.
Тревожу совесть — хмурю судью.
Припоминаю то, что не забыто.

У нас — дыши! Уж не томит жара,
И желтизною сентябрит из леса —
Приходит стихотворная пора.
Да это всё тебе без интереса.

А я всё виршами себя лечу,
Жду славу, всё надеюсь заработать.
Ты схмуришься: «Стило не по плечу»,
Прогневаешься: «Свой кусает локоть...».

Считай, как можешь. Каждому своё:
Ты любишь жить надёжно, я — надеждой.
Спокойной прозой душеньку утешь ты —
Не мне судить твоё житьё-бытьё.

Я не сверну с дороги, не тужи,
Не прокляну затученное солнце,
Я не один, мне есть что петь, кем жить:
Любимая — любимой остаётся.

~ ~ ~

Покойны жёлтые озёра,
Спокойны синие пески:
Они как старость без укора,
Они как юность без тоски.

Над ними плакала и пела
И старина, и новизна!
А им до века мало дела —
Всё та же синь да желтизна.

Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью —
Ни радостно, ни горевно...
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно.

БЛУДНЫЙ СЫН

Была бесприютна погода —
Покров мокроснежил и дрог.
Так случилось уж: трудных три года
Я тут не ступал на порог.

Печального образа рыцарь
Каких только чуд не чудил.
В погоне за стервой жар-птицей
Ни песен, ни крыл не щадил.

По разным чужбинам шатался —
Скобать, шантрапе ль побратим?
Измучился, Родине сдался.
И, пленный навек, победил.

Пред этим обиженным домом
Я плачу. Я снова рождён.
И пахнет знакомым-знакомым:
Позёмом да вешним дождём.

~ ~ ~

Мне бедный лог, осенний лог
За тьмы изломом
Не будет, как бы ни продрог,
Холодным домом.

И что с того, что ни листка
Над гребнем сизым:
Травы зелёная тоска —
Ненастью вызов!

Мне никогда, мне никогда
В час непогожий
Не станет стылая вода
Змеиной кожей.

Пускай всё плёсо на ветру
Шипит и вьётся.
Но ввечеру иль поутру
Заря прольётся.

И потеплеют холода,
И тихо станет.
И хорошо, а не беда,
Коль друг обманет.

ПРИСКАЗКА

Ржавь — златые соты,
Сонь — бег ручья.
Кто ты? Кто ты? Кто ты?
Чья? Чья?!

За топью страшною —
Весёлая цветь.
Не взыщи, что спрашиваю,
Ответь, ответь!

Буйно, бойко
Бьёт ключ-студенец.
Тесак разбойника?
Меч-кладенец?

Чёрные ольхи
В кольце разрыв-травы.
Протяжные вздохи
Бездонной синевы.

Как рыба в неводе,
Тычешься в неоглядь:
Негде, негде
Сердце унять.

И пусть бы от тесноты,
А тут — от широты.
В такой дремучей местности
От воли жди беды.

В сторону каждую
Распахнута дверь.
Бегучую жажду
Уйми, умерь.

Размыкай, прикончи
Гулкую тишь...
А ты все звонче
Взахлёб журчишь:

«Живое сердце
Зачем унимать?
Ключу не напеться,
Не отсверкать...».

Ты смотришь так шало
И грустно так.
Пути начало?
Последний шаг?

В таволгу, в ряску
Прольёшься весь.
А мне бы сказку
Воплотить в песнь!

Ведь я и не был
Ещё ничуть.
Былину мне бы
В быль обернуть!

Ты молчаливо
Велишь: «Иди,
Не сбейся вкриво,
В оба гляди.

Внемли, мой сына:
В истоке моём
Вещая былина
Порастает быльём.

А впереди, под взгорком,
Где бой кровавый был,
На пепелище горьком —
Радостная быль.

Направо — сказка
С дурнем, с дворцом,
Любая развязка
С победным венцом.

Песня — налево,
Плач из души,
А припев! От припева
Хоть пляши.

Есть и награда,
Не даром зову:
Разве не отрада
Уйти в синеву,

Что шаг — новоселье
Своё справлять?
Разве не веселье —
Со мной горевать?

Зрочки таращить:
Перед грудью — даль,
Блескуча, звеняща, —
Чем не медаль?

А забвенье жалобное
Избудет... Ничего.
Будет и жалованье,
А как же без него:

За сказку — сто,
За быль — кому что;
За былину — пятак,
Песня — за так».

~ ~ ~

Розе Королёвой

Насторожённый покой. Замирание...
В зыбкий туман, в застеклевшее озеро,
В зелень рукой неминучею вранена
Жёлтая грусть разгулявшейся осени.

Коростели никого не ауют —
Дальней дорогой за песни заплачено.
Только листве не смириться с разлукою,
Не разувериться сердцу горячему.

Полю, косматому как наваждение,
Гулкому лесу, притихшему месяцу
Грезится милых шагов пробуждение,
Отголубевшая молодость грезится.

Кажется, только прислушайся к полночи —
Лёгкие ноги о травы заплещутся!..
Осень своими причудами полнится,
Что ей за дело, кому что мерещится.

С горькой осины, со сладких яблонек,
С неба густого над зябкой левадою —
Падают листья, падают яблоки,
Падают звёзды. Падают... Падают.

ПЫЛАЮЩИЙ СКИТ

Александру Гусеву

Не прибыльна песня об этом,
Вся — пламя, октябрьская тишь:
Коль выпало статься поэтом —
От первой же искры сгоришь.

Что правда, то правда: сгораю —
Вся глушь как пылающий скит.
Поэтому я выбираю
Погоду, когда моросит.

«В такое бездожде беречься?
А грянет ненастье — запеть?
Да это ж от злата отречься!..» —
А мне бы — дотла не сгореть.

НОЯБРЬ

Как сиро и как стыло на земле,
Как немо и неласково в природе:
И мокрый снег — седого пепла вроде,
И день, и ночь, и даль светла — во мгле.
Как сиро и как стыло на земле.

Большой изъян сквозит в моих краях:
Пугливые молоденькие ивки,
И эхо, и ручьи, и зорь обрывки
Устали помышлять о соловьях.
Большой изъян сквозит в моих краях.

Предзимью сожаленье не дано:
Оно сечёт и жжёт поля нагие.
Разлука, сутемь, горечь — летаргия,
Просторы — как закрытое окно.
Предзимью сожаленье не дано.

Но ты иную песню заведи:
Что толку от рыдалистой отходной —
Холодной, непогодной, безысходной,
Которую заладили дожди.
А ты иную песню заведи.

В самом себе ненастье укротив,
Сноп вешних слов спали в костре напева —
Жги, не жалей их: словеса — не древа,
Они воспрянут, песню осветив.
Сжигай слова, чтоб не остыл мотив!

ОЗАРЕНИЕ ОСЕНИ

Антонине Вильгельмининой

Было шорохливо и, как в песне, складно,
Зябко и тревожно, вольно и отрадно.

Даль — не за горами, и идти далёко,
И совсем безлюдно, и не одиноко.

Было увяданье, только не разлука —
До весны прощанье, в верности порука.

Надо же: такое на душу намчится!
И душа-должница тихо залучится;

И душа земная призрачным поверьям
Робко отзовется лаской и доверьем;

И совсем забудет, кто её обидел,
И — светла — вернётся в грешную обитель,

Где печали вдоволь и веселья вдосталь,
Нет и расставанья: впереди — лишь расстань.

~ ~ ~

Поклон, поклон, ржаное поле,
Речушки брод, косой стожок!
Мне жар земли безверье сжёт —
Ни зла, ни зависти, ни боли.

Здорово, ласковые звери —
Ежи, сороки и ерши!
Ей-богу, с вами хоть пляши:
Душа в добро открыла двери.

Привет вам, грозовые тучи
И дымчатая голубень!
Спасибо, беспечальный день,
За всё, что завтра неминуче.

ДУША

Разлука-даль стихи слагает:
Уйди в зарю из шалаша!
И в том пути изнемогает
Моя бездомная душа.

Уже и утро пролетело,
Передохнуть бы у ручья.
Но хоть бы что душе до тела,
Она торопит: даль ничья!

Уже и вёрсты ночь итожит,
И телу бренному невмочь.
А вот душа изныть не может,
Ей никогда не изнемочь.

Она, как небеса, нетленна,
Её, как совесть, не унять.
Твердят: « Душа у тела пленна».
Кто у кого в плену — как знать?

~ ~ ~

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой.

Неказиста трава, неприглядна,
Худосочна — и что там ещё?
Мне надёжно с тобой и отрадно
Опереться на дружье плечо.

Ни обиды на сердце, ни боли,
Тихий свет — от земли до небес...
Как давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!

Ты дубы на полянах огромнишь,
Рвёшься к зорям, орёл крутокрыл.
Ты меня поневоле не помнишь,
Я по воле тебя не забыл.

Будет всякое, всякое будет
В наших судьбах, таких горевых:
Нас прогонят, обманут, осудят,
Нас отвергнут от зорь заревых;

Нас ещё позабудут, забросят,
Опалят беспощадным огнём
И железной секирою скосят...
Только мы всё равно не умрём.

Хоть чего натвори-понаделай,
Присудив dokonать на корню, —
Наши корни в земле порыжелой
Не унять никакому огню.

Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет — от земли до небес.

ГРАЧИ

И дым отечества нам сладок и приятен!

Александр Грибоедов

Добрались до отечества грачи
(Мы все, живые, рвёмся к дому, рвёмся).
Метель плюёт им в очи: не кричи!..
А птицы уповают: перебьёмся.

Февраль в размахе — месяц до весны,
Морозы напоследок стервенеют.
А думы птиц, как вешний день, ясны:
Они в добро не верить не умеют.

Повременить бы им до Сороков,
Перегодить бы стужу обочь моря —
Не ведали б нещадных облаков,
Не знали б ни гибели, ни горя.

Они обсели брошенный овин:
Сидят и ожидают Утро года.
Не все дождутся тёплых луговин,
Не все услышат звоны ледохода.

Над ними высь крута и холодна,
Под ними — снег, за ними — снег, пред ними...
Да родина у всех, у всех — одна.
И птицы уповают в отчем дыме.

~ ~ ~

Я в русской глухомани рос,
Шагнёшь — и прямо на задворках
Тоска, да мох, да плач берёз,
Да где-то град уездный Порхов.

В деревне — тридцать пять дворов;
На едока — полдесятины;
В лесу Клину — навалом дров,
В реке Гусачке — вдосталь тины.

Народ — на голыше босяк.
А ребятню что год рожали.
Как жили? Всяко: так и сяк —
Не все, однако, вдаль бежали.

Большим не до меньших — дела:
Не как теперь — не на зарплате.
Нам нянькой улица была,
А в дни ненастья — печка в хате.

Про зиму что и вспоминать:
Метель выюжила на болоте, —
Зима и сытому не мать,
Хоть в шубе будь, да все не тётя.

Весной сластились купырём,
Подснежкой клюквой да кислицей;
Под май — крапивки поднарём:
О вешний суп с живой водицей!

Зато уж лето детворе
Надарит бобу и орехов,
И птичьих песен на заре,
А солнышко нажжёт доспехов...

Нас в люди выводила Русь
Всей строгостью земли и неба;
Пусть хлеб её был черным, пусть,
Но никогда он горьким не был.

~ ~ ~

Простодушно удружила,
Все сомненья — трын-трава.
Размахнулась, закружила —
Только кругом голова!

Замелькала пёстрой птицей,
Синекрылою звездой,
Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой.

Храмом, дальним и неожиданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным...
Это здесь-то Бога нет?

ПОГОСТ ЖАБОРЫ

Жаборы как жабры без воды —
Жаборы, где Русь меня крестила!
Ямы, рвы — нашествия следы.
Мать-земля, чего ты нам простила?

В речке Узе — сладости полей —
От сухмень-печали недороды:
Ни прозрачных струй, ни голавлей.
В чьи моря сбежали наши воды?

Скручен стрежень. С доньшка песок
Нагишом: тростиночки не светит.
Источил плотину чей брусок?
Резвы рыбы в чьи попали сети?

Памяти усопшие места.
Детям деловым не до погоста.
Бедная церковка. Два креста.
Неужель на свете всё так просто?

Здесь мой дед и бабка — кровь-родня,
А не здесь, так — там: твоя и наша,
Скорбно ждут меня.
Иль кого сия минует чаша?..

Не людская — тустороння тишь.
И не знамо, хорошо ли, худо,
Что грехи нам прощены... покуда.
Ну а завтра? Вдруг да не простишь?

НАБАТ

В Пятидесятилетие Великой Победы

Тебе, отец мой Николай Григорьевич Григорьев,
Георгиевский Кавалер, ротный командир Первой Мировой
войны

и

Тебе, брат мой Лев Николаевич Григорьев, раз-
ведчик-партизан Великой Отечественной, отдавший жизнь
за скорбное Отечество наше,

посвящаю выстраданный вами «Набат».

Да будет вам пухом мать-сыра земля! Спите
спокойно: я никогда не отрекусь от России!

Ваш сын и брат Игорь Григорьев.

РАТОБОРЦЫ

Плюсским разведчикам

Мои дорогие, мои побратимы, —
Наш виды выдавший отряд!
Не слышно поэм, о которых ретиво
Божился вам пишущий брат.

Вчера вы призвали меня к разговору,
Гордыню мою укротив:
— Забористо, песельник, шастаешь в гору,
Играя на модный мотив.

Теперь ты на Плюссе не жихарь, а дачник —
Гостюешь в родимом дому.
Божился, да, видно, разжился удачник:
Известность! Уж мы ни к чему. —

Тихонько вздохнули, рукою махнули:
— И этот — в кусты от своих... —
Мне ваши крутые укоры как пули:
К земле пригинает от них.

За горькую правду не дюже судите:
Не платят за стих без прикрас.
За рифмы глагольные грех отпустите,
Как раньше прощали не раз.

Мы все на виду кочевали у смерти,
Огнём крещены и мечом.
И я не забыл обещанья, поверьте,
Как вы, не забыл ни о чём.

Всё помню: немую работу разведки,
Полёгших безусых ребят...
Под сердцем моим пулевые отметки
Доныне к погоде горят.

Доныне свинец чужеземца-солдата
Покою спине не даёт;
И тяжкий валун над могилою брата
Сжимает дыхание моё.

Нет! Я ничего не забыл, хоть и рад бы
О многом, что знаю, не знать.
И жжёт мою душу огонь нашей клятвы,
И сердце попробуй унять.

~ ~ ~

Я помню огненную ночь,
Тротила адскую работу,
Вконец измотанную роту,
Не властную земле помочь;

Сорвавшуюся с цепи смерть,
Бездольных беженцев обозы,
Лютенной тучей — бомбовозы,
Свинца и крови коловорот;

Совсем последний эшелон,
Крик паровоза — вопль прощальный,
Заупокойный, погребальный,
И брошенных могильный стон.

О, как был тёмн тот рассвет,
Когда на русском полустанке
С крестами зарычали танки:
Спасенья нет! Пощады нет!

Я вижу, вижу, как сейчас,
В дымище бурую лавину,
Чужого рыжего детину,
Его налитый кровью глаз.

Метались люди, как в бреду,
Рыдало солнце в чёрном небе,
Плясал огонь в созревшем хлебе,
Рубили яблоню в саду...

Цвели поля — всё прах и тлен,
Был тихий кров — торчат лишь трубы,
Любило сердце, пели губы —
Теперь кругом тоска и плен.

И мне мерещатся доныне
Младенец, втоптанный в песок,
Телами устланный лесок,
Лохматый пёс, увязший в тыне.

У них в глазах — ни зла, ни лжи,
Они велят: «Чтоб грех испламить,
Пусть бережёт горюнья-память
Всю тела дрожь, всю боль души.

Пусть дочери и пусть сыны —
Живые — павших поминают.
Да никогда не забывают
Они об ужасах войны!».

НОЧЛЕГ

Так ласково день догоревший,
Так мирно отходит ко сну.
И ветер, как хмель присмиривший,
Прилёг до утра под сосну.

И мнится: в доверчивом мире
Ни крови, ни ярости нет.
Но утро взорвётся в четыре,
И дело зажётся чуть свет.

Свинцом раскалённым подует,
Свирепый тротил хлобыстнёт,
Разверстая кровь заведует,
И кто-то судьбу проклянёт,

Кого-то надежда обманет,
Кого-то Звезда озарит,
И кто-то вовеки не встанет,
И кто-то в огне не сгорит.

Но это потом. А покуда —
На целых четыре часа —
Покоя предоброе чудо,
Как веки, смежает леса.

Мы тоже ведь чада природы,
Нам тоже не грех прикорнуть.
Ещё окаянные годы
Пошлют нас в пылающий путь.

Давайте с тревогой простимся,
Не будем гадать о судьбе,
Под тихой сосной приютимся —
Не время тужить о себе.

В дремоте бугры и ложбины,
Не знают ни зла, ни вины...
Полтыщи шагов до чужбины,
Четыре часа до войны!

22 ИЮНЯ 1941

Вот так воскресенье
На святой Руси!
Светопреставленье!..
Боже, пронеси!

Грозна доля наша,
Пробил чёрный час:
Горестная чаша
Не минула нас.

В долгую дорогу —
С нынешнего дня.
Слёзы на подмогу —
Русская броня.

Пропадать зазряшно
Нам не привыкать...
Умереть не страшно —
Страшно умирать.

ДУНЯ

*Купим Дуне сарафан, сарафан.
Носи, Дуня, не марай, не марай.*

«Во кузнице кузнецы»

*Три года носила, смены не просила.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.*

« Дуня-тонкопряха»

Придумают же люди: «Тонкопряха» —
И с кузнецами, якобы, не прочь...
А ты, как птица сбитая, с размаха
Роняла крылья-руки, горя дочь.

Пускай ещё жена — уже вдовица
В неполных девятнадцать, знает Бог...
И был весь мир. И негде приютиться.
И рвалась дорога из-под ног.

Стояла ты на взлобке, вся в закате,
Распятая на росстаней кресте.
И рядом — сто солдаток, сто распятий.
Везде война. И цвёл июнь везде.

28 июня 1941,
Плюсса

ПОСЛЕ НАЛЁТА

Нет больше в небе «каменной стены»,
Какой вчера кичиться мы любили:
Три «юнкерса» — на третий день войны! —
За Плюссой мост и эшелон сгубили.

А их — случись — жаканом из ружья
Смахнул бы вниз, не то что из зенитки...
Мужи и жёнки не кляли вражья:
Совсем молчали. Все в крови до нитки.

7 июля 1941,
за Плюссой (у железнодорожного моста)

ОТСТУПЛЕНИЕ

Два дня и три ночи горело,
Ревело, громило, трясло —
И душу, и брненное тело
Ввергало в погибель и зло.

Мочалило сталь на мочало,
Свивало железо узлом,
Погибель победно кричала:
«С дороги, иначе — на слом!».

Бежали без ружей солдаты,
Как тени, ползли старики...
Куда ты, Россия? Куда ты?
Хоть слово надежды реки!

3 июля 1941,
Тушиново (под Плюссой)

НАБАТ

Обозы, обозы, обозы.
Такое — как в дни старины.
Искромсаны в щепки берёзы
Нещадной секирой войны.

И стынут в чаду буйноцвета
Мужи... Бобыли... Сыновья...
Не спето. Не спето. Не спето.
А в чащу весёлое лето
Вселило для них соловья.

И кажется — тучные нивы
Рыдают над каждым: «Проснись!..».
А в сёлах — глухие разрывы
Да толom пропахшая высь.

Проклонулась жердь у омёта —
Разжилась наивной листвою.
А в поле частят пулемёты,
Свинец высеваая густой.

И полдни черны и косматы,
И горького горше — дымы.
Отчизна, твои ль это хаты?
И, может, не русские мы?

Твоя ль это радость лесная?
Кладбищ вековечная грусть?
Вот этот, как рана сквозная,
Большак в заповедную Русь?

И эти понурые люди?..
Бедует набатная весть:
Никто, кроме нас, не рассудит —
Что будет? Что было? Что есть?

13 июля 1941,
Тушиново (под Плюссой)

КАСИН КАСИНЫЧ

Константину Лапину

Побросали обитель
Не одни только трусы.
Мой любимый учитель
Утекает из Плюсы:

Дорогой человеке,
Константин Константиныч.
Немчура недалече —
Змей железный Горыныч.

И ни охи, ни вздохи
Не годны на подмогу.
Шутки с ворогом плохи.
— Жёнка, живо — в дорогу!

— Это ж дому ж поруха.
Не пойду никуда я!
— Ошалела, старуха?
— Я здоровьем худая.

— Перелёт, моя птаха!
— Сам-то сдюжишь, бедняга?
Хворь, соколик, от страха.
Разбоялось, однако... —

Я укладывал вещи:
Снёс в телегу корыто...
Протемнела зловеще
С неба тень «мессершмидта».

Засвистело, рвануло,
Завалило берёзку,
Дымным вихорем сдуло
И коня, и повозку.

Кто-то дьяволом клялся,
Кто-то плакал о Боге,
Мой учитель не сдался:
— Будет легче в дороге.

11 июля 1941,
Плюсса

ФИЗИК

Максиму Рудакову

Максим Григорьич Рудаков,
Директор нашей школы,
Угнал фургон и был таков —
Умчал, развихрив полы.

За ним гнались на броне
Бродяги-чужеземцы.
А физик завернул ко мне:
— Тикаем, лирик! Немцы!

Мы улизнули от врага,
Смotalись, слава Богу.
Хоть дрянь житуха — дорога,
Хоть некуда — в дорогу.

Уж нам досталось в этот день:
Двенадцать раз бомбили!
— Как им листовки слать не лень
Неграмотной кобыле?.. —

Я физику стихи всю ночь
Читал на переправе.
— Хотя до виршей не охоч,
Смолчать сейчас не вправе.

Таким стихам цена сто сот:
В какую высь запрыгнул!
За них тебя я прошлый год
Из школы чуть не выгнал?

Июль 1941,
мельница Горданово (Кошелевицы под Плюссой)

ЛИХО

Немо краснолесью, слепо лучезарью:
Свет погашен сталью, высь набрякла гарью.

Ни «ау!», ни эха, ни смешинки малой —
Лихо, плен, глумленье злобы небывалой.

Ни росы, ни дали, ни туманной рани.
На дорогах скорбных — «панцири-лохани»:

Никому спасенья от «крестов» безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.

Грех и разоренье, кровь и унижение.
Умирают сёла, как в костре поленья.

Ни дверей, ни окон в избах несгоревших —
Головы да крылья петухов отпевших.

Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, —

Горькая, не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя — не измерить...

Дом военнопленный без трубы и крыши,
Ты и в тяжких ранах «юнкеров» превыше.

Не скулишь: «Пощады!», не сулишь прощенья, —
Кто тебя осудит в страшный час отмщенья!

17 августа 1941,
Тушиново (под Плюссой)

ПОСТИЖЕНИЕ

Деревню взяли! С виду — люди:
И без копыт, и без клыков.
Казалось, нет ни зла, ни жути
У чужеземных мужиков.

На Мундхармоника¹ верзила
Играл «Катюшу»... Ну и ну!
Беда не шибко грозила
(Хоть без беды — нельзя в плену).

Но это утро только мнилось —
Явь лиховела проклято:
К полудню всё переменилось,
И мы постигли, кто есть кто.

Не помня, что такое — милость,
Забыв, что есть на свете месть,
В «сверхчеловека» обратилась
Тевтонская тупая спесь.

С чужих ремней любая пряжка
Кощунствовала: «Готт мит унс»².
И к лютой виселице тяжко
Шёл раненый великорус.

Перекрестился троекратно:
— Деревню взяли не во сне!
Вздымайся, Русь, на дело ратно!
И закачался на сосне.

15 июля 1941

¹Губная гармошка (нем.).

²С нами Бог (нем.).

ГОРЕВАНЬЕ

Как ты глухо стонешь, Поле,
Выбито стальной пятой.
Может, не было русской доли —
Колос не звенел литой?

Как ты горько тужишь, Речка,
Братскою могилой став.
Может быть, забиться сердечку
Первый час ещё не настал?

Как ты тяжело дышишь, Небо,
Жёлтые крыла неся.
Может, жизни ещё и не было? —
В пламени Планета вся!

7 ноября 1941,
Плюсса

В ПЛЕНУ

Приглашенный объятьем октября,
Ольховый лист сгорает, не горя, —
Без жара, без огня, покорно и темно...
Душе, как родине пленённой, горевно.

Октябрь 1941

НЕПОКОРСТВО

Будто мать горевая
Над сынком, в крови лежащим,
Жжёт метель, стена-взывая
Неподдельным русским плачем.

Словно вдовая невеста
Над любимым соколёнком,
Не находит замять места,
Захлебнувшись в стоне звонком.

Точно горькая сиротка
Над родительской могилой,
Тужит хвиль пугливо-кротко
Над судьбой своей постылой.

А кругом, в ночи-неволе, —
Ворог, проклятый трикраты.
Замерзает наше поле,
Замирают наши хаты.

Но мы слышим, слышим, слышим
Жаркий голос русской выюги.
Да! Мы дышим, дышим, дышим —
Копим жилистые руки!

1 января 1942,
Плюсса

БУРЯ

Разгуделась придорожная струна,
Поразохался корявый березняк.
Ой, душа моя, родная сторона, —
Засугробленный тоскующий большак.

На отшибе сиротеет деревцо,
Плачет скорбная часовня на юру,
Прячут дали ненаглядное лицо —
Не до игрищ на кровавом на пиру.

Здесь подошвы чужерусские стучат,
Кружат коршуны, бросая сердце в дрожь.
Вихорь огненный, слепой свинцовый град,
Наше солнце всё равно не заметишь.

Не сумевших от беды тебя спасти,
Русь, бредущая завьюженным путём,
Ты прости своих сынов, прости, прости!
Для тебя на всё готовы: мы идём!

12 декабря 1942,
Локня

~ ~ ~

Поле Молитву твердит наизусть,
В ней поднебесная грусть.
О Русь!

Солнце и ночи, и звёзды твои,
Травы, снега и ручьи —
Как соловьи.

Я их слышал, родившись едва,
Родины бедной слова:
— Вечно жива!

РАЗВЕДЧИЦА

За нами Усвяты. Под Луками — битва...
Разведчица Галя, ты мне — как Молитва!

Суровая «немка», прекрасная дама.
Порушился путь мой: ни криво, ни прямо.

Не ты — холодеть бы мне в волчьей яруге,
Раскинувши руки, раскинувши руки.

Пришла. Огляделась кругом молчаливо.
— Держите билеты и пропуск. Счастливо!

— Как звать тебя, милая?
— Галя из Пскова.
До нашей победы! — и вышла, сурова...

Под немцем Тверщина — родная чужбина.
Куда занесло нас?.. Галина, Галина...

15 декабря 1942,
Кушково (под Локней)

С ДОНЕСЕНЬЕМ

Окаянная доля —
Одному за двоих.
Бойся леса и поля —
И чужих, и своих.

Грозовая обитель,
Заколдованный круг.
И наган-утешитель —
Твой единственный друг.

Но и в скорбной юдоли,
И в плену дышит май:
Непокорства, и воли,
И любви — через край.

Дольний мир жарколистый
Заклинает, стена:
И не выстынь, и выстой,
Не споткнись у огня!

Не утеха — неволя,
Полусон, полустон.
Глянь: у леса и поля
Беспечалье — резон.

Дерева не сдалися —
И листвы дождались.
Дотерпи. Помолися
В солнцезвёздную высь.

Игорь Григорьев

Не прогневай наганом
Грозовитую тишь!
Под косматым туманом
Проскользнёшь. Не сгоришь.

3 мая 1943,
дорогой в Машутино, на связь

В НЕМЕЦКОМ ПОЕЗДЕ

За мною, по пятам, — капут,
То бишь делишки туги.
Того гляди, свои рванут —
Трясусь в немецком цуге.

Не ты — чужих, тебя — свои
Рванут за милу душу:
Как свистнут наши соловьи!..
Хоть недосуг, а трушу.

Присев на корточки, в углу,
Гляжу на дойче харю.
Молюсь в мелькающую мглу.
И по-немецки шпарю.

На стыках поезд: «Та-та-та! —
Гут за нос водишь фрица».
Но кажет фигу простота:
«Сполна б не захитриться!

Не шибко горячись, герой:
Здесь никакого лета...».
Лихущий год сорок второй —
И где она, Победа?

17 декабря 1942,
Сосонье (Порховщина)

ПОЕДИНОК

Застыли — русский паренёк
И чужанин-пруссак:
Глаза — в глаза, зрачок — в зрачок,
Жар — в лёд, кинжал — в тесак.

Глядят — друг друга пепелят.
Пылает кровью склеп.
Скорбящ и светел синий взгляд,
Белёсый — люот и слеп.

В застенке тишь как динамит,
Крик сердца несказан.
Устал гестаповец: молчит,
Ни слова — партизан.

Им не до слов: у огольца
Цепь руки сторожит,
И парабеллум у фрица
В руке дрожмя дрожит.

Не спрячешь злого страха в пол,
Не скроешь — прячь не прячь:
Ведь ты отвёл, отвёл, отвёл
Свои зрачки, палач.

Лиха судьба — последний час,
Но что твой пистолет!
Верней, точнее чистых глаз
Оружья в мире нет.

25 мая 1943,
Плюсса

БАБУШКА

Василисе Лавриковой, бабушке моей

Был мой дед своенравен и лохмат,
Характером крут, на руку тяжёл.
Выпьёт «пшеничной» — чёрт ему не рад:
Зачудачил, забузил, пошёл...

Да и надымит такого сгоряча,
Что неделю после охает, питух.
Был не сажень ростом — бабке до плеча,
От нужды, как тын от зноя, сух.

Ни телеги не имел он, ни одра;
Были ночи чёрны, были жарки дни;
И всего-то в халупёнке значилось добра —
Двенадцать ртов ребятни.

Но не уставал он, делу брат и друг,
С плотничьим топориком воистину дружил.
Да бревно однажды выпустил из рук
И, вздохнувши, русу голову сложил.

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому — годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно — сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.

Но она не заклеимила белый свет,
Разумела: жизнь людская — не вина.
А потом в колхозе — горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.

А за той войной треклятой — чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Череп на рукавах да пауки...
— Отвернул от нас, от грешных, Бог... —

А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса — зелена греха.
— Долго спать вам на негаданном пиру!
И пустила в сени красна петуха.

И запряталась в разбитом блиндаже...
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.

И накинули ей петлю палачи.
— О, гроссмуттер¹! — упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был как пьедестал!

5 января 1944,
Клескуша (Лужский район)

¹ Бабушка (нем.).

ЛЮБОВИ СМУРОВОЙ

В новогоднюю ночь

Гаснет, схвачен цепким заморозком,
Мраком взят-заполонён —
Чужеземным, злым, декабрьским —
Русских глаз июньский лён.

Над простором, в цепи брошенным,
Стонут очи, ночь кляня.
Не гляди, моя хорошая,
Не гляди так на меня.

Я и сам пронизан стужею,
Подступает к горлу ком,
Руки тянутся к оружию.
Дай гармошку! Запоём!

Связные

Ни звезды, ни месяца.
Темень бессердечная
Всё колдует-бесится:
«Мрак — стезя извечная!..».

Песня распечальная,
Радость моя горькая,
Не роса хрустальная
Светит нам под зорькою.

Не кидай на плечи мне
Руки свои жаркие —
Остры когти вечера
Нашим следом шаркают.

Искорка пугливая,
Вьюга — долго-надолго.
Не добыл огнива я —
Ждать костра не надобно.

Круто занастило,
Люто запогодило.
За спину — не за стену,
А потише вроде бы.

Заслонись хоть крохотку,
Дать мне больше нечего.
Слышишь, сколько хохоту,
Вою, свисту — встречу нам?

Только ни полжалобы
Перед тёмной стылостью:
Родина пожаловала
Нас высокой милостью!

Последний большак

Недоступен лик и светел,
Взгляд — в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирий храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!

Плач по Любви

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, —
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!

Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловёрть...
Кем был для тебя я? — наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.

Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит —
Мне дарствует майский денёк.

...Дорога за Радовьем. Солнце над бором.
Соколье болото левей.
И свист занебесный над земь-свистохором:
То — иволга, то — соловей!

А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольным болотом,
И падал черёмховый снег.

О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюсу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

1942-1944,
немецкий тыл

В КОМЕНДАТУРЕ

Евгении Мониной

Когда-нибудь тогда,
Когда-нибудь когда-то,
Сама себе не рада,
Спохватится беда.

И осенит крестом
Содеянное худо.
Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес — наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой — открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, —
Я тута — «герр», вы — «фрау»,
Ловчим в гнезде врага.

Опасная игра,
Жестокая забава:
И слева смерть и справа
— Не дремлет немчура.

А смены не видать.
И говорю вам тихо:
— Печально жизнь отдать,
И взять чужую — лихо.

Игорь Григорьев

Мы — дети: дочь и сын
Руси, на зло не шибкой.
А вы, в ответ, с улыбкой:
— Вот пять магнитных мин!

11 января 1944,
Клескуша (Лужский район)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Георгию Савельеву

Загороженный ворогом путь,
Вдоль шоссейки — звериный чапыжник.
Стонет хрипло дорожный булыжник,
Пряча мины в разверстую грудь.

Тяжко дышим мы, глухо и зло,
Ковыряя корягой каменья.
Окаянная служба отмщенья:
Диверсант-подрывник — ремесло.

Время тёмное — полночь близка.
Завтра день мой: лишь птицы аукнут —
Стукнет двадцать мне, если не стукнут.
Защити нас, туманец леска!

Где-то матери наши сейчас?
Я-то знаю: им нету покоя.
Пусть помолятся, дело такое, —
За себя, за Россию, за нас.

Дай им Бог! А над Плюским шоссе —
Три часа — пригасают стожары,
Будят утро немецкие фары,
Дым и пламя, и грохот в росе!

Гоша лыбится: — Огненный пир:
Догорают ошмётки машины,
Догулялись четыре вражины.
С днём рождения тебя, командир!

17 августа 1943,
после диверсии у Большого Захонья

«НА ВОЛОСКЕ»

Не покачаешься на волоске,
Не запоешь о дремучей тоске.

Хвастаться нечем, да суть не в хвальбе —
В ворове? в Боге? в военной судьбе?

Так ли, иначе, моё «ремесло»
В сейф коменданта меня занесло.

Дело не стыдное в лихе войны.
Вскрыл я тот ящик, не чуя вины.

Настежь двойная железная дверь.
Сердце робливое, стуки умерь!

Мы далекомько зашли, не пасуй.
Карта развёрнута, только рисуй...

Вдруг за спиною, унылый, как стон,
Возглас чужбинника: — Ду бист, Эгон?¹ —

Что называется влип, земляки:
Не драпанёшь и в четыре ноги.

Шкурой почувствовал: близится дрожь.
Стрельнуть нельзя. Вся надежда на нож.

Немец схватил меня за руку: — Вер!² —
Это мгновенье нам было как век...

Было да сплыло — у нас говорят.
Так почему ж мои шрамы горят?

8 января 1944,

Клескуша (Луженский район)

¹ Ты, Игорь? (нем.).

² Прочь! (нем.).

~ ~ ~

Он промахнулся дважды.
В пяти шагах. В меня.
Я не горел от жажды
Убить. Но дал огня.

Раскочегарив дуло,
Плеснул из ППШа.
Его как ветром сдуло,
Не повезло, и ша:

Воткнулся в куст рябины
Дырявой головой.
Стояли сентябрины
Над лесом и травой.

Валялся хлыщ безродный,
Никто, кровавый бред.
Из пятерни холодной
Я отнял пистолет.

Не жаль его нисколько,
Да и себя не жаль...
Глазам от дыма горько?
Журавья жжёт печаль?

Ни звука, ни ответа
От неба и земли.
Пылает «бабье лето»!
Рыдают журавли!

17 сентября 1943,
Овинец (Плюсский район)

ОПЛОШКА

Стояла ночь, тревожна и глуха.
За речкой спели два-три петуха.

— Григорьевы Лев с Игорем, пора!
— Охотники, ни пуха ни пера!..

Кровянил семафор, чернел откос.
Запрошлым летом тут пасли мы коз.

А нынче, алча эшелон рвануть,
Сто шапек тола угнездили в путь:

Ужо!.. Да маху дали впопыхах
(Чего уж там, покаемся в грехах):

Как следует следов не замели.
И над зарядом — фрицы-патрули.

Один — давай светить, другой — копать.
— Клюет! Тяни уду, ядрёна мать! —

И брат живёхонько рванул фугас:
И патрули оборотились в газ,

И сыпалась железная труха,
И мы греблись подальше от греха.

А смертник-поезд смылся, паразит,
И не ему — стыдоба нам грозит.

За пустотрату сил боеогня
Нас в баню посадили на три дня.

Сидим! Брат Лев, сопя, изводит вшу,
А я стихотворением грешу.

15 января 1944,
Нежадово (Плюсский район)

СОН

«По волчьей мостовой»
Мы шли с темна до восхода...
Я ткнулся в мох головой.
И сплю. И что мне погода.

За эти сна полчаса
Застрял в долгушем кошмаре:
В огне сплошном небеса,
Дорога в чёрном пожаре!

Мой брат горит посреди,
Босой и в смертной рубаше.
«О Боже, грех отведи!» —
Молю я в горе и страхе.

Ни Бог не слышит меня,
Ни брат не слушает стона.
И кровь, и когти огня,
И горе, горе бездонно.

23 сентября 1943,
Зачеренский лес

БРАТ

Льву Григорьеву

*Поле перейти не страшно ничуть,
Если перешел аль убит;
Но зато какую кромешную жуть
Русичу подбитому утро сулит.
Если ни патрона в нагане нет
И нога с ногой не в ладу, —
До чего ж он скор и черен, рассвет,
И светает прямо в беду!*

Лев Григорьев

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатыл два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?

26 сентября 1943,
Носурино (Плюсский район)

МАТЬ

Марии Васильевне, матушке моей

«Извещаем...
за Отечество...
с врагами...» —
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
Надавил на темя горбатый потолок...

Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела —
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!

А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё — в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
— Поплачь — душа не камень... —
А она соседок проводила на крыльцо.

Вышла за калитку, огляделась:
Всё как было —
Грозовеет небо, сиротеет поле...
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
— Будет, бабоньки: развиднело —
Пора на сенокос!

26 сентября 1943,
партизанский лагерь в Зачеренском лесу

ТРИФОН

Зарева и звездопад. Не спится.
Лес. Костёр и песня на поляне:
«Ой да за водицей шла девица,
Босиком, по соловьиной рани...».

Жутковато от совина крика:
Забавляет лешего, дурёна.
— Ротный, друг, повесели: соври-ка,
Как ты гостевал у фон-барона!

— Знайте: до войны я в энтээсе
Десять лет механиком ворочал.
Знал, само собою, толк в железе,
Осушал и чарку, между прочим.

Тут — война! И плен за три недели
(В сорок первом немцы были скоры).
Уж мы на погроме «порадели»!
Уж поплакал я, круша моторы!..

Вскорости свели меня в гестапу —
Вызнали, что я — механик, бляди, —
Важный немец тянет ко мне лапу,
А в той лапе... кружка шнапса: «Нате!».

Шутки плохи. Выпил с перепуга.
Немец — леденца мне: «Посластитесь!» —
Покупает задарма, тварюга:
«Вижу, пан Васильев, пить годитесь».

А потом фрица как подменили —
Он вскипел до визгов оглашенных:
«Будете чинить автомобили!
Мы не терпим непокорных пленных!

За усердье дорогой подарок
Обещаю я, барон фон Шнее:
Ящик русской водки, тыщу марок,
Дом, корову и ден копф¹ на шее».

Я хвостом не всякому виляю,
Вот и встал, и рубанул заразе:
«Я, Три-фон Васильев, заявляю:
Не согласен, фон в едином разе!».

Враг опешил, вылупил бельмищи:
«Драймаль фон?²» — и с тем в скулу как звизднет!
Дрался, доложу вам, жёнки чище,
Слава Богу, не сильнее жизни.

— Значит, зряшно лопнула награда?
— Не совсем: горят к погоде кости...
А теперь пора вздремнуть, ребята:
На рассвете — к фон-барону в гости!

Сентябрь 1943,
партизанский лагерь под болотом «Соколий мох».

¹ Голову (нем.).

² Трижды фон (нем.).

ПРИВАЛ

Длинный дождь,
Время — нож:
Поневоле — в дрожь!
Чисто поле моё,
Ветрово жнивье.

Ржавь да рябь,
Зябнет зябь,
Хлобыстает хлябь.
Небо, земь — всё одно:
Вздыбленное дно.

Ни устать,
Ни отстать,
А дойдёшь — как знать:
Многим лечь навсегда,
Сгинуть без следа.

— Да, война...
— Ни хрена.
От дождя — хана...
— Размоктели, дружки?
На-ка хромку, жги:

Погармонь,
Сердце тронь,
Высеки огонь!
— Есть!.. А сам трепака
Отчубучь слегка:

Сплясани,
Дрожь стони!
— Ноги ни ни-ни.
— Не жaley, хватит ног.
— Разве что — чуток. —

Зачастил,
Припустил,
Дал что было сил:
Начудил аж до слёз,
Хмарь и хмурь разнёс.

Будто нет
Лютых бед,
Проклятуших лет;
Будто с гаком полста —
Что одна верста.

Лупит дождь,
Только врешь,
Душу не зальёшь:
И доймёшь — не уймёшь...
Роздых. Время — нож!

19 ноября 1943,
Зачеренский лес

РАЗВЕДКА

Ивану Хвоину

Пятый день мокропогодит,
Пьяный ветер колобродит;
Выйдешь — оторопь берёт:
Не земля — сплошная лужа,
Под фуфайкой пляшет стужа...
— Кто на дело? Шаг вперёд!

Как медведица-старуха,
Ночь буреет, мает глухо:
«Ты один? Один за всех?
Стой: на лосьих тропах топко!
В чаще муторно и знобко:
Ни попутчиков, ни вех.

Поверни, пока не поздно, —
Там, куда ты лезешь, грозно:
Встренет выстрел, в мох швырнёт!...».
Черт те што. Бывает. Ветер.
Где-то люди спят на свете.
А разведке — шаг вперёд!

25 ноября 1943,
Вир (Лядский район)

ПЕРЕХОД

Тимофею Егорову

У кромки старуха-осина
Хохочет, хохочет навзрыд.
Вязка ты, псковская тряси́на, —
И лось не опустит копыт.

К тебе и глухарь отоцальный
По клюкву не смеет летать;
Кабан — вездеход одичалый —
Обходит пропащую гладь.

Здесь — прямо, и справа, и слева —
Стоглазая целит напасть,
Бурчит её черное чрево,
Разинута красная пасть.

И нету нам выбора. Нету.
И можешь не можешь — иди.
— Судил Бог болотину эту —
Пять вёрст в киселе до груди!.. —

Глумится ноябрьская стужа,
А избы, как май, далеки.
— Подсумки притягивай туже:
Патроны мочить не моги!

— Эй, зяблики, грейсь от заката,
Лечебных грязей не корить... —
Да кто ж вы такие, ребята?
Да как же России не быть?

Ноябрь 1943,
Соколий мох

ВЕРНОСТЬ

Василию Красотину

Не море — горящее горе,
Земли перепуганной дрожь.
Стенают пробитые зори,
Сочатся в убитую рожь.

Стекают к её изголовью,
К последнему всхлипу её,
На землю, залитую кровью,
На горькое сердце моё;

На доброе страшное сердце,
От мести глухое дотла,
Которому некуда деться:
Нет жизни, и смерть обошла.

О мир, ясноглаз и доверчив,
Тебя, на сожранье войне,
Хватают клыкастые смерчи;
И в чёрном корёжат огне;

Грабастают, пьяны от власти,
И пляшут на красных костях.
И стонешь ты в бешеной пасти,
И тонешь в железных когтях.

Но смотрят нам в души нагие
России сухие глаза:
— Мои сыновья дорогие,
Ни шагу, ни пяди назад! —

Хоть страшно, должны мы признаться,
Должны в беспощадном пути:
Ведь некуда больше сдаваться
И некуда дальше идти.

Мы внемлем. Мы жить не устали,
Но грозно на крестной стезе
Мы стиснули души, мы встали —
Живые и мёртвые — все.

Лихие дары ей приносим —
Пожары да точность свинца.
И мрём. Но вздыматься колосьям,
И зорям не прятать лица.

1943 — 1973

КАБЫ ДА ПОЖИТЬ

Михаилу Шутову

Как нас тянут ноги?
Три часа утра —
Пятый час в дороге.
— Хоть бы полкостра!..

Ласково и любо
Теплится восток.
— Горестно и люто.
Лечь бы за кусток!..

Стылая осока,
Сниклая куга.
— Знобко и далёко.
— Да не два шага.

— До свету добратся,
Да и жару дать!
— Поднажали, братцы:
Там у фрица — гать.

Суше там и выше,
Не дорожка — пух!
— Бечь бы рад, да вышел
Из шагалок дух.

— Чхать на невезуху —
Немчура горазд:
По завязки духу
Накидает враз.

— Это точно: вложит!
Только кто — кому?
— Всё случиться может:
Смерть сгребёт в суму...

Будто жили зряшно —
Зла не растужить.
Горестно и страшно.
Кабы да пожить!

1943,
немецкий тыл

НА ПОЛЕ БОЯ

Глумится дым: дотла деревня.
Твоя. Дотла.
Мертва трава, черны деревья,
Металл — зола.

Все сорок братьев — оземь сходу
У рубежа:
Прошедшие огонь и воду,
Спят, не дыша.

А ты, живой, не спи, усердствуй,
Гори от мук,
Прижми к земле плотнее сердце,
Чтоб тише стук.

Бери патроны. Вытри слёзы —
Живи, простят.
О павших плачницы-берёзы
Отшелестят.

Пусть ноябрю ништо до смерти:
Жжёт снег, бьёт дождь, —
Ты дышишь в гиблой коловерти.
И ты придёшь.

Дойдёшь, чтоб снова распрямиться,
С живыми встать.
А поле кружится, дымится —
Зги не видать.

1943 — 1975

~ ~ ~

На последнем своём берегу,
Далеко от родного села,
Ты споткнулся на чёрном снегу —
Завершаешь земные дела.

Чадный воздух со всхлипом глотнул —
«Тигр» дымит, будто чёртвов ушат.
Гаснет, глохнет сражения гул,
В поле зори красно мельтешат...

Потянуло парным молоком —
Сердцу нет ни разлуки, ни вёрст.
Покосившийся ласковый дом
Светит в ливне пронзительных звёзд.

Всё как в рани: кленёнок, лужок,
Ты бежишь по росе босиком,
Где-то плачет пастуший рожок —
Просто так, ни о чём, ни о ком.

Жёлтый звон и малиновый зной,
Синий щебет и вздох у ручья...
— Здравствуй, мама! Не плачь надо мной:
Ты — во мне, не чужбина ничья.

1944 — 1975

~ ~ ~

У самой траншеи,
На красном снегу
Мне лиха лишее —
Ни встать, ни гугу.

На бруствере ноги,
Внизу голова...
Вразброс у берлоги —
Тела, как дрова.

Свои и чужие —
Дошли до межи.
А мы — чуть живые,
Да всё-таки жи...

1 января 1945

ЗАСАДА

Перед утром спит огонь,
Но курки — лишь пальцем тронь.
— Во бы в хату завернуть,
Закусить бы да курнуть! Прикорнуть...

Одолжи комок жмыха —
Что-то мутит ото мха.
Слышь, едал я до войны
Порумянее луны — блины.

— Чудачина человек,
Будет нам ужо ночлег.
— Ша, шумилы, шум — хана! —
Натянулась, как струна, тишина.

Полнолуние. Снежный прах.
Плач, хохочущий в кустах.
Виден звук и слышен цвет:
Ходят рядом тьма и свет
След в след.

Январь 1944,
немецкий тыл

ПРОЩАНИЕ

Николаю Григорьевичу, отцу моему

Было прощание с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.

Крута сыновья стезя:
Долго ль сорваться...
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем —
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем.

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
— Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба! —

И, поклонясь до земли,
В руки — поводья.
Тойфеля¹ тронул: — Пошли,
Вражье отродье! —

Пряма дорога была,
Как наказание:
Мокра да сизо-бела...
Жизнь партизанья!

И, до последнего прав, —
Во след мне глядя, —
Бороду в посох вогнав,
Плакал мой батя.

9 февраля 1944,
Островно (Лужский район)

¹ Тойфель — чёрт (нем.); кличка моего трофейного коня

КОНТРАТАКА

Виктору Объедкову

На взло... на взлобке — взрыв за взрывом,
В ста саженьях — не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас — тридцать восемь, чад разведки,
Сорви-голов лихой войны.
Предстал комбриг: — Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!.. —

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там — во гнёздах гажьих —
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих —
Врагу, Господь, не приведи!

11 марта 1944,
госпиталь 1171

МЕНЯ РАНИЛО

Было так: сперва я бёг,
А потом, с размаху, лёг.

Отходила вдруг нога.
Брешь в штанах. Полсапога.

Шапки нет. В ушах трезвон.
Прохлаждаться не резон.

От меня шагах в полста
Вылез немец из куста.

А за ним возник другой —
Не до дрыганья ногой.

То есть, тут не до ноги —
Можешь, нет ли, убеги!

Я, понятно, не бежал,
Да не то чтоб и лежал.

Весь вошёл в житейский раж:
То катился, как кругляш,

То скакал — хвала прыжку! —
Заслонив рукой башку,

То сжимался аж в комок...
И ведь смылся, мог-не мог.

13 января 1945

БОЛЬ

Александре Агафоновой

Светлый ангел — сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги — темнота.

Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердя,
Неужель я для смерти воскрес?

Неужель озноблённое сердце
Мне в заброшенной хате не греть?
Не избывшему крест одноверца,
О сгоревшей любви не жалеть?

И, добыв-таки рифмы золоты,
Не валиться, счастливому, с ног?
Или верные други — заботы
На меня наложили зарок?

Неужели?.. Да выпеснишь разве
Все соблазны житейского дня?
Скорбный ангел, дарующий праздник,
Заругайте, засмейте меня.

Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь бы не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Игорь Григорьев

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумя: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить — ни про что — в никуда!

22 ИЮНЯ 1944 ГОДА

Чему ты смеёшься, утеха-погода? —
От солнца лишь ране больней.
Сегодня вселенскому горю — три года,
Убийственных тыща сто дней.

Какую мы силу назад осадили,
Стократ заплативши, стократ!
Сквозь вёрсты Руси чужеземные мили
У нас под ногами горят.

22 июня 1944,
госпиталь 267

~ ~ ~

Григорию Акмолинскому

Последний выстрел замирает,
Протяжный тонет стон.
В кипящей заводи сгорает
Стальной немецкий слон.

Шестидюймовый хобот скручен —
Отвыл, отлютовал.
Вопит земля в цепях колючих:
«Не бейте наповал!

Мне — цвель, а я черна от жути —
Зола и тлен до дна.
Зачем вы так со мною, люди?
Ведь я у вас — одна!».

Прости, Земля, — людскому званью
Совсем не все верны:
Твои верховные созданья
Не все тебе — сыны.

Суди, какие громомёты
Сожгли твой снежный берег.
Вот эти с черепами роты —
Не люди, грех и бред.

Смоги — они б тебя загрызли,
Распяли б — грянь их час.
Но отняли мы злые жизни.
Земля, вздохни о нас!

1943—1975

В ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ

От нас откатились бои за кордоны,
Стекла в заграницы война.
Трава не хранит, а хоронит патроны —
Стрельбюга весне на хрена.

Не помня ни лиха, ни зла, ни печали,
Обманутой жизни внемля,
Поля воскресают, поля отмолчали, —
Вздыхаючи, дышит земля.

Не кровью за кровь, не безбожным отмщеньем, —
Как светлый Спаситель с креста, —
Земля голубеет прощеньем, прощеньем,
Зане она злу не чета.

Над нею, израненной, сеченой, клятой,
Бездомной ничьей сиротой,
Донельзя расхристанной нищей патлатой
Витают Егорий святой.

И маю цветущему даже морозы
И снега в бессолнечной мгле
Не боязны были б, когда бы не слёзы,
Когда б не они на земле.

6 мая 1945,
Ильинское (Приветлужье)

ПОБЕДА

В радуге, в радости, в цвете
Май, позабывший о солнце.
Тучи — что малые дети:
Плачется вдруг и смеётся.

Вихорь загикал, захлопал,
Бахает гром холостыми,
Катится звончатый купол,
Светится в ласковом дыме.

До земли высь опустилась,
Кланяясь тёмным избёнкам.
Ливень, отрадный, как милость,
Чалым бежит жеребёнком.

Неукротимо и круто
Пламя разлапое рыщет.
Дня многогорлая груда
Ахает, грохает, свищет.

Ей откликаются люди
Вздохом раскатистей грома.
Травы в текучей полуде,
Перворожденья истома.

Раненой жизни начало
Душу врачует и дразнит.
Небо и то не смолчало:
Вышло — до тучки — на праздник.

Сходятся ярые руки
В ошеломлённом зените...
Видите? Верите, други? —
Мы победили. Вздохните!

9 мая 1945,
Большое Николаевское (Приветлужье)

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Постой у разбитой опушки,
Ничуть не боясь, подыши.
«Грохочет!..» — Гуляют лягушки.
«Крадётся!..» — Встают камыши.

«Взывают нещадные трубы!..» —
Не рвись: гомонят журавли.
«Над лесом багровые клубы!..» —
Заря доспевает вдали.

«Стенанья протяжные вдовьи!..» —
Не майся: неясить поёт.
И полнится синею кровью
Раскиданный паводком лёд.

И месяц линём неторопким
Полощется в пенном пруду...
И станешь ты тихим и робким,
Зачем-то с собой не в ладу.

Зачем-то к земле равнодушной
Прижмёшься горячей щекой,
Как в детстве сторевшем, послушный,
Вздохнёшь, что совсем не такой.

Ах, как мы отвыкли от вёсен!
Ах, как мы без них не могли!..
Копейки сиреневых блёсен
На рыжую глину легли.

Восход, желтопёрая птица,
Смеётся за чёрным бугром...
И вдруг весело загрустит,
И горе набухнет добром.

КРАСУХА

Красуха в сентябре 1943

Вокруг Красухи травы глухи,
Часты кусты густым-густы.
Ещё у Мира очи сухи, —
Ещё святой не стала ты.

Тебя судьба хранит покуда,
Но, видит Бог, не на века.
Ещё ты не сгорела люто,
Но это лишь пока, пока.

Таясь в осеннем озаренье,
Ты теплишь свет, моё село,
И ни тоска, ни разоренье
Не жгут печальное чело.

Журавушки не отрыдали,
Ещё ты машешь в три крыла,
И крик набата прячут в дали
Твоих берёз колокола.

Год сорок третий. Сентябрины.
Что день — темнее златогрусть...
Какие дани и дарины
Ты жертвуешь и платишь, Русь!

Какому лиху, злу какому
Дано свершиться над тобой! —
Здесь ни живой душе, ни дому
Не выстоять перед судьбой.

Не уцелеть перед напастью,
Что разразится в ноябре:
Захватит огненную пастью
Тебя, Красуха, на заре.

Убьёт — сожжёт людей и хаты,
Жизнь обратит в золу и прах.
Но до своей горючей даты
Тебе лететь на трёх крылах.

И ты летишь над коловертью,
В осеннем полыме горя,
Навстречу страшному бессмертью —
До ноября, до ноября.

Поминок

Чернобыль на пепелище
Да густой бурьян.
Оголтело ветер свищет,
Кровью сыт и пьян.

Хоть бы двор какой иль хата —
Пусто впереди.
Только зарево заката
Душу бередит.

Только трубы обочь речки
Над печами в ряд —
Непогашенные свечки —
В прах-золе горят.

Только хриплый ворон глухо
Крикнет о беде...
Что с тобой, моя Красуха?
Где ты? Где ты? Где?

Я четыре чёрных года
Светлой встречи ждал.
Я ходил в огонь и в воду,
Кровью побеждал.

Жгла меня тоска-поруха,
Маяла напасть,
Чтоб тебе, краса Красуха,
В горе не пропасть.

Верил: ждёт меня невеста,
Дом родимый, мать...
Где я? Памятное место
Сыну не признать.

В день свиданья — ночь разлуки:
К сердцу сквозь кусты
Тянут высохшие руки
Сирые кресты.

На тропе, как дума ночи,
Бредит чернобыль:
«Растопчи меня — нет мочи
Трогать эту быль!..».

В сорок третьем в тьме метели
На село моё
Набежали, налетели
Псы и коршунья.

Затолкали в пасть сарая
Триста человек.
Триста душ, земля сырая,
Приюти навек!

Заплескалось пламя в крыше,
Взвился адский чад...
Враг «Пощады!..» — не услышит:
Мёртвые молчат.

Красуха

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят.
Ты — из камня,
Ты — из мёртвого гранита,
Ты — немая,
Но душа твоя — набат.

Ты — Красуха!
Здесь — Россия в каждой слёзке,
В каждом взгляде,
В каждом вздохе люб-травы.
И не знают
Зла не знавшие берёзки,
Отчего нагоркли
Песни синевы.

Что им знать:
Они родились в сорок пятом, —
Им стоять
На избах, выжженных дотла.
А тебе нельзя не помнить —
Память рядом:
Вековая
Безутешная ветла.

Над холмом твоим —
Бездонная тревога:
Ни сыночка, ни забвенья
В мире нет.
И у ног бежит
Не сельская дорога —
Путь тернистый,
Путь кремнистый в белый свет.

Грозовито,
Чутко в чаще краснотала,
Вечный сон, печаль и воля —
Жизни власть.
Здесь Красуха,
Здесь Красуха умирала,
Здесь погибель
До бессмертья вознеслась.

1943 — 1972

СЕВО

Евдокии Ивановой

Стога по склону, стога на гребне —
Как зёрна в ласковой земной горсти.
В высоком небе, в спокойном небе
Ни тучки крохотной не грустит.

Поля смирились: ласкают ольхи,
А те красуются, веселясь.
И только волны внизу как вздохи,
Да камни тяжкие, будто напасть.

Гуляет глушь. Глухонемо. Пёстро.
Огонь и кровь? Огнекров кипрей?..
Ах, волны, волны, милосердные сёстры,
Не смыть вам пепел и кровь с камней.

Бедуйте, волны, — покоя нету:
Тут всё — вековая беда.
Хоть сколько сердцу гореть по свету —
Никогда не сжечь дороги сюда.

У чёрной плиты, седая, как пена,
И неподвижная, словно гранит,
Русская мать, преклонив колена,
Кротко и скорбно память хранит.

Над ней крушина — ягода волчья —
Из красной картечи сплела венки.
Я подхожу, я кланяюсь молча,
— Спасибо! Бог помочь тебе, сынок! —

О чистый берег! На жёлтой глади
Крапива и хмель навили плетей.
О мать! Святая мука во взгляде...
— Пришла проведать своих детей.

Вот здесь они, вот на этом камне
Угасли вместе — брат и сестра:
Светили, как факелами, руками,
Стенали в нещадной пасти костра.

Горели! Горели живые люди-и, —
Дрожи, моё горькое сердце, дрожи!
Разрывались мёртвые камни от жути:
Доныне трещины эти свежи.

Село Сево! Ни души, ни сарая.
Одна я воскресла на прах-пустыре,
Чтоб весь свой век гореть, не сгорая,
Пылать, изнывать в том лютом костре.

И, может, вечно в прахе багровом
Спалённой жизни горюнить свет.
Не пройди, помяни их добрым словом.
А я тут поплачу. Покоя нет.

ЗАКЛЯТЬЕ

Когда заликует свет
Перед разгневанными глазами,
А сердце отчаётся
Кровоточить и проклинать,
Говорите всем как признание,
Твердите как заклинание,
Велите как приказание:
— Восемьдесят пять!
— Восемьдесят пять!
— Восемьдесят пять!

Чтобы все слышали,
Видели,
Ведали,
Чтобы безумству
Смердящую пасть не разъять, —
И в чёрные беды
И в солнце Победы
Нельзя,
чтобы люди забвенью предали
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять...

85 тысяч
в одной могиле!
И некого звать,
Никому не восстать.
А ведь все они
Были,
Были,
Были!

Но часы пробили,
Часы пробили —
Душегубки дымили, дымили, дымили:
Восемьдесят пять...
Восемьдесят пять...
Восемьдесят пять...

О бедная мать,
И зачем ты сердце дала мне? —
Тут бой его страшен,
Грешно здесь дышать.
На колени швыряет,
Сжигает глаза мне
Бесконечная цифра
На белом камне,
Беспощадная цифра
На огненном камне,
Огнедышащая цифра
На мёртвом камне —
85!
85!!
85!!!

Я открываю глаза,
Вижу спокойные выси,
Встаю с колен,
Корю себя:
«Разум — вспять?
Адская небыль,
Сгинь, не снись ты!..».
Но надо мной, над землёй, над небом
Неотвратимо нависли —
85!
85!
85!

У реки Шелони
Над русским полем
Им бездну веков
В сто семьдесят тысяч глаз
Заклинать,
Заклинать,
Заклинать!..
Слушайте, сущие:
В восемьдесят пять тысяч бездонных боле!
Взывают к вам невольники воли,
Взывают к вам
Ради вашей доли —
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять!

Чтобы Земле
Не ведать смертельной стыни,
Чтоб никогда
Никому
ни голов, ни колен
Не склонять, —
И во веки веков,
И присно,
И ныне —
Вещайте миру
О поле,
В котором бездомней пустыни,
Кричите свету
О буйноцвете,
Что горше полыни,
Шепчите сердцу
О страшной святыне:
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять...
Жизнь не может вас не понять!

13 февраля 1945

Почтив
 молчания минутой,
Всех не вставших —
Жизнь отдавших
 в схватке лютой, —
Быть молчанию невероятной длины:
Двадцать восемь лет
 сполна —
И зим, и вёсен —
Провести бы нам в молчании-помине.

Двадцать восемь!
Двадцать восемь!
Двадцать восемь!
Вот какие мы минуты в сердце носим.

ПУТЬ

Не дальше людской дорога,
Которой Бог меня вёл.
Не каюсь: продрог немного —
Всю жизнь нараспашку шёл.

Не крепче других мотало
Меня. Но бывало всяк:
Хлебнул огня и металла,
И пять штыковых атак.

Сполна и любил, и верил,
И брал, и платил, что мог.
Перед озябшими двери
Не затыкал на замок.

И странно, и горьковато
Оглядываться назад:
Иным «своим» твоя хата
С краю, старый солдат.

Поёживаюсь. Вздыхаю.
И тешу себя наперёд.
Что ж, ладно — «с краю, так с краю»,
Переболит. Замрёт.

И если житейская осень
Нашлёт на тебя холода —
Хоть милости и не просим —
Мой дом не закрыт никогда.

ПАМЯТЬ

У тихого леса
Святое проклятое прошлое:
Горюнится лобное место,
Невинной полынью заросшее.

Роняет ракита,
Как гильзы, латунь сентябриную...
Забыто, забыто, забыто.
Зарыто. Заровнено глиною.

Ни рва, ни кровинки —
Всё годами списано, сглажено.
Осинами стали осинки,
Лепечут: «Всё мирно, всё слаженно.

Прихожий, прохожий,
Не стой, выстывая под тучами:
Не надо, не надо тревожить
Могилы глазами горячими.

Им выситься долго,
Их горького долга твоё не касается...».
Но давнее — взяло! отволгло! —
Как ливень слепой, разгорается.

Поляна за кромкой,
Как сердце седое — урочище,
Морозище, красный и громкий,
И шмайссера око хохочущее.

И эти осинки —
Прямые, рядочком, одиннадцать.
И заступ в дымящем суглинке,
И ров. И нельзя отодвинуться.

И унтер хрипящий,
Как будто не он — нас, а мы — его!
И рядом, ах, рядом до чащи.
И выдох стнящий: — Мы з Кьева-а!..

И всё. Темнотюга.
Ни боли, ни жара, ни холода...
Очнулся я: плакала выюга
Разгневанно, истово, голодно.

И хлопало глухо
В груди, рушником запелёнатой.
И все повторяла старуха:
— Сказнённый, а смертью не тронутый!..

Скорбяще глядела,
Крестила усохшими пальцами:
— Пожуй — подходяще для тела.
В картошку б — солицы да сальца бы!..

И ладно ли, худо —
Творила она милосердие.
И тот, кто не верует в чудо,
Уверуй: дышу после смерти я.

И память — живая,
Бессонная, жгучая, длинная —
Стучится, взывая:
Поляна! Поляна полынная!

УДЕЛ

В семнадцатый июнь — в моём запеве лета —
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И врага любить, и милость к падшим звать.
Но... меч в моей руке! Помилуй, правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бескокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры.
И жаждали испить душа и дерева...

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И с пролитой крови у жизни спросу нет —
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

ПОМОЛВКА

Ты жгла меня, гнала, звала,
Нездешне — Музой — звалась,
Во мне жила, моей была,
А в руки не давалась.
И всё-таки моя взяла.

Ты знаешь, из каких ворот
Жених твой в люди вышел,
Какой огонь прошёл и лёд,
Смекаешь, чем он дышит,
К чему зовёт, куда ведёт.

Ты помнишь, как в сплошных ночах,
В проклятье, в лихолетье,
От горя он чернел и чах, —
Что всю беду на свете
Не вынести на крутых плечах.

И подтвердишь наверняка,
Не мешкая с ответом,
Что не забыла простака
С трофейным пистолетом,
Его немчина-рысака.

Ты видела в лихом году,
Во рву, у пулемёта,
В крови, в пороховом чаду
Писал разведчик что-то —
В аду, у смерти на виду.

Не получил за то наград,
И панихид не надо!
Не угодил я на парад —
Невелика досада.
Как говорят, уж рад не рад...

А нынче я, как всё, иной,
Как все мы — не моложе,
Задумчив, тих, сутул спиной —
Багаж, он крючит всё же.
Всё так, но ты зато со мной.

К тебе спеша ценой любой,
В пути полсчастья выжег;
Что счастье, встретиться б с тобой!
А ты — всё строже, выше.
Ах, Муза, Муза, — вечный бой!

Подумать только: двадцать лет
Горел, к тебе привязан.
И вдруг победа из побед —
Тебя засватал разом!
Не ослепи меня, мой свет.

Ведь вместе праздновать теперь
На свадьбе нашей будем,
Ломиться в запертую дверь,
Стучаться к добрым людям,
И верить в чудо, верь не верь.

Дай руку: душу отворя,
Пойдём зарю аукать;
Не дай мне вопиять «уря»
И «браво» тьме сюсюкать,
И свет чернить не дай зазря.

Пуская трубылы дуют в медь,
Грохочут в контрабасы,
Пускай, привыкшие галдеть,
Паяцы точат лясы —
Вели о совести радеть.

И разреши задать вопрос
Тебе, моя невеста,
Простив, что прям он и не прост,
Ответь, скажи мне честно,
Поскольку до тебя дорос:

— Ты, Муза, кто: в ночи звезда,
Минутка-прибаутка,
Мечта, беда?..
— Пожалуй, да:
Родство со мной не шутка.
Я — неизбывная страда.

Одним я — скучная вдова,
Другим — всего забава,
А суженым не трын-трава —
Сладчайшая отравя:
Судьба ль, судья ль — правым-права.

Вот ты, чужак седой, мне люб:
Не сдал, скажи на милость!
А что словцо сорвётся с губ —
Стерпелось, облюбилося:
Ведь ныне редкость — однолюб.

Однако помни: пересуд
Уже водицу мутит —
Чванлив, самым собой раздут,
Хлопочет, рядит-судит:
«С ним Муза жить не будет.

Сорокалетний холостяк,
Куда как дело плохо:
На свадьбе собственной — в гостях.
Сейчас у нас — эпоха,
Теперь модерн — искусству стяг.

Верлибр! Не с кралею рябой
Забавки на трёхрядке...» —
Ты знаешь, Муза, мы с тобой
На веянья не падки.
Вот — сердце! Всё в порядке —
Не утихает вечный бой!

9 МАЯ

Жгла нам души, кровь цедила
Сила гиблая, адская.
Да не всех взяла могила
Горевальная братская.

Вот и я — за что? не знаю,
Чьей молитвой? не ведаю —
Упасён, иду по Маю,
Упиваюсь Победою.

Что с того, что сталь чужая
Жжёт и злится под рёбрами, —
Мне, не ей вода живая
Льётся: — Здравия доброго!

РУССКИЙ УРОК

ПОЭМА

В раскосые зраки Батые
Ты блазнилась взятой уже.
Россия, Россия, Россия
На крестном своём рубеже!

До Волжских могил от Мамаё —
Война неземной долины,
Атака семивековая,
Беда без суда, без вины.

Во имя любви и воли
Бездонная крови река.
Превыше и горше юдоли
Не ведали даль и века.

Огнища, остроги, курганы —
От Калки-реки до Сестры.
Горят непогасшие раны —
И звёзды горят, и кресты.

Горят россиянские были,
Набатами — всклень и тоской.
Там всякие Митрии были —
Лжедмитрий и Дмитрий Донской.

День прошлый для нови-истории
Не жупел, не чин-господин.
Но намертво розны Григорьи —
Отрепьев и Гришка, мой сын.

Тем зависть душонку изгрызла,
А эти — не души: редут!
Те — ищут корысти без смысла,
А эти — для смысла живут.

Для власти — для рабьего блага,
Те могут себя полонить,
А эти — стрясись передряга —
Собою тебя заслонить.

Надейся: коль надо — заслоним.
Кому что, сурово решай.
Коль будет — как было! — отстонем.
Но ты и сама не плошай!

~ ~ ~

Да встанут противу засилья
И ухарь, и схимник-монах!..
Россия, Россия, Россия,
Купальница в адских чанах,

В «котлах» — и других, и Смоленском..
Страдунья, себе самосуд,
В замшелом «авось» деревенском:
«Всевышний и Сталин спасут!».

Но причудь — «авось» — не спасала.
И жгла ты свои корабли.
Добро, что страшно приказала
(Иначе бы разве смогли?):

«Держаться, держаться, держаться,
Бутылками танки рубя!
Мы — дома: не смей унижаться!
Последний патрон — для себя!».

— А кто повеленье преступит —
Платить нерасплатной ценой:
Бесчестья и смерть не искупит.
Всё поняли? Рота, за мно-ой!.. —

Раз велено — велено, значит.
Вздымай нас! Гони нас! Влеки!
Хоть бой, почитай, и не начат —
Уже подо Псковом враги.

— Да где там под Псковом — у Луги!
— Да это ж куды он припрёт?..
— Неуж мы такой недолугий,
Такой некудышный народ?

~ ~ ~

Не зряшно германцы грозили:
Красуха у них за спиной.
Россия... Россия... Россия...
Свет рушится...
— Ро-ота, за мной! —

А поле глухо, да глазасто;
А лес — непрозрим, да ушаст.
В цепи нас — негусто-нечасто.
На дыбе мы. Помните нас!

Спят в холмиках жёгшие танки.
А холмики — сгладит водой...
Народят других россиянки.
Твой кон: ты повенчан с бедой.

И можешь-не можешь — обязан
Добраться! Добечь! Доползти!

Душа закликает и разум:
Не глина — Отчизна в горсти!

А бой — нешутейное дело,
Осечка — не вечный привал:
«Отвеяша душу от тела»,
Как вещей Бояне певал.

Войне только сто тридцать суток,
А тыща три ста — пред тобой.
И жарок, и злобен, и жуток,
И горестен праведный бой.

То даль ослепительно выгнет,
То высь громобойно угнёт:
Увидит, услышит, настигнет —
Обвалит, наступит, убьёт.

Хоть пусто в петлицах, хоть ромбы,
Отбыть на последнее дно —
От пули, от мины, от бомбы —
Солдату не всё ли равно.

Нет! Сердцу, — хоть чьё там, — пужливо.
И до смерти хочется жить!
Но скошено взрывами жниво.
И поздно собой дорожить.

От гула звенюче и глухо,
И пьяным-пьяно без вина,
С косою Косая-старуха,
И Родина — только одна.

Присудит и к высям, и к безднам;
Кому обелиск позлатит,

Кого наречёт Неизвестным,
И всхлипнет: «Никто не забыт!».

А то ещё в плен закандалит
(И это стрясалось в войну).
И после сама ж не похвалит —
Руки не подаст горюну.

~ ~ ~

Разящего Разина сила?
Разящая Разина рать?
Россия, Россия, Россия,
Да сколько же можно сгорать?

Горю я в кострище тревоги,
В Руси и в заморской дали,
Горюя, что люди — не боги,
Всего только чада земли;

Что Божьи создання беспечны,
Что грешны и грозны они,
Что миги-года скоротечны...
Свет-разум, от тьмы заслони!

Я чую, я слышу, я вижу —
Вчера обернулось в сейчас —
Стреляю, душу, ненавижу.
И кровь, а не слёзы из глаз.

Сгорает душа — не поленья,
Скудея в вертепе огня.
Скорблю я, ползя в наступленье,
И гложет морока меня:

«Не падать бы навзничь с откосов
С глухою боязнью в душе —
Решиться, как Саша Матросов,
На вражьем застыть блиндаже!

Удел не кляня окаянный,
Оставить земное житьё,
Как мних Пересвет покаянный,
Скрестив роковое копье!

Бесслёзно во мгле потрясений
Покинуть возлюбленный край,
Как доблестный Сергей Есенин,
Как светоч Рубцов Николай.

Вовеки судьба однолюба
Прекрасна, хоть грешен, хоть свят:
Не сдаться, — как Смурова Люба,
Как Лека Григорьев — мой брат.

Как в Порхове Костя Чехович,
Повергший захватчиков в дрожь.
Былина: Алёша Попович!
Да разве нас всех перечесть?».

~ ~ ~

Невольник святого засилья,
Люблю, хоть не знай и не верь,
Россия, Россия, Россия,
Какой уже нету теперь.

Не сказку-мечту зоревую,
Что в сердце до гроба таим, —
Мне жаль её ту, горевую,
Нещадную к детям своим.

Не знавшую зря лицедеять,
Матюжить и до смерти пить.
Ещё не остывшую сеять
Сухую клочкастую выть.

Когда, не бегущие в грады,
Не бравшие в весях зарплат,
Пресвято твои ненагляды
Блюли свой девичий обряд.

И Маньки, Маруси, Манюхи
Не тщились окраской седой.
И хлебы пекли молодухи.
И гриб не считался едой.

И Ваньки, Ванюши, Иваны
Не чаяли в этом вины,
Что носят на кроссах сотканы
Не джинсы, а просто штаны.

То было до танцетрясения —
Юродства под электроштамп.
В те годы грядут потрясения —
Маньяк изблюёт в мир «Майн Кампф».

Ещё не уползшие в гады,
Не ставшие мразью у рва,
Твои окаянные чады
Не пали в змеятник РОА...

То было, то было, то было —
Крушение душе: «Ненавидь!».
Разило. Громило. Губило.
Да! мы не могли не любить.

Свою деревенскую ровню
Не волен забвенью предать.
И, пуще всей горечи, помню
Тебя, моя бедная мать, —

Ещё в домотканой рубаше,
Не знавшую Знамени лгать;
Ещё не забывшу на плахе
Персты для Знаменья слагать.

Далёкие годы и лица,
Уплывшая в море вода.
Но прошлое милым глядится
Не только сегодня — всегда.

~ ~ ~

Стокровьем закат пересия,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?

А если б разверстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? —
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
— Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!

~ ~ ~

Вдругорядь взгори Хиросима —
И Питер сгорит, и Елец...
Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец.

Мамаев Курган ли, Красуха,
Ров сирый ли — вечная боль.
Ужель всеземная поруха —
Грядущего века юдоль?

Коль века безумье — «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы.

Вселенская светокончина —
Всегибель творенья Его.
Без дня всесожженья пучина...
И молит душа горево:

«В атомщиков свору несыту
Швырни заклинанье, Земля!...».
Как быти два раза убиту —
Убити два раза нельзя.

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У Жизни закон непреложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград —
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» —
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
— Авось перебьёмся без драки...
Нет, люди: «авось» не спасёт!

все
ПЕРЕМЕЛЕТСЯ

*автобиографическая
повесть*

*...Иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Евангелие от Матфея*

Говорить о себе поэтам вернее, да и честнее всего стихами: в лирике не пустишь пыль в глаза, никуда не денешься от самого себя. Таково уж свойство Поэзии: она — сам человек, взявшийся за перо. Но жизнь — мудреная штука: в ней без прозы не обойтись.

Слава Богу, ни в каких революциях я замешан не был. А все остальное — от безумной коллективизации до пресловутой «перестройки» — испытал на собственной шкуре. И если меня спросить на духу: «Ну и как шкура?», не избежать мне ответа: «Да трещит по всем швам!». Но об этом вы читаетесь в моих стихах. А сейчас самое время упомянуть об истоках.

Родители моей матушки — Василий Алексеевич и Василиса Яковлевна Лавриковы, крестьяне деревни Сосонье Порховского уезда — имели три борозды земельного надела и четырнадцать детей (я застал только шестерых).

Дедушка был невысок ростом, сух и жилист, мягкого характера, добр и покладист, но строг и непреклонен там, где надо. Как большинство мастеровых людей, при подходящем случае не отказывался от хмельного зелья, за что и прилепилась к нему устная фамилия — Мокроус. Однако, если в церкви зарекался не пить определенное время

(обычно год), свято соблюдал зарок. Он всю жизнь плотничал, надорвался на стройке и рано умер.

Бабушка Василиса, по-деревенски Васютка Мокроусиха, была крупна, кротка, весьма недурна собой, обладала ангельским голосом, нежным сердцем и лошадиной силой. Когда у них случился пожар, в котором сгорели дом и конь, она на себе возила из лесу бревна на постройку жилья. Ей ничего не стоило десять верст пронести на закорках подгулявшего в Порхове (и через это обезножившего) супруга своего. Доброта ее не знала границ, и в бедном, очень опрятном доме Мокроусов днем и ночью находили приют и кусок хлеба побирушки и бродяги всех мастей.

Мамина мама была неграмотна, но знала множество сказок, бывальщин, былин и песен, которые исполняла с бесподобным артистизмом. Зимними вечерами скоротать долгое темное время и послушать певунью-говорунью, бывало, являлись и стар, и мал. Приходили на огонек даже из соседних деревень. Глубинную русскую речь моей пра-родительницы густо расцвечивали пословицы, побасенки, присловья и поговорки. Мне думается, что многое из репертуара бабули было сочинено ею же самой.

Василиса Яковлевна погибла в блокадном Ленинграде зимой 1942 года и покоится в братской могиле на Пискаревском кладбище.

Моего прапрадеда по отцу звали Кузьмой, потому что прадед был Дмитрий Кузьмич, — и, к стыду и прискорбию моему, это все, что мне о них известно. А дед, Григорий Дмитриевич, от которого и пошла наша фамилия Григорьевы, — особая статья. И хотя я не застал его, но о нем наслышан. Основатель моего гнезда — Гришина хутора — справный русский мужик, добрый оратай (12 десятин

земли на хуторе, полученных по реформе великого крестьянского заботника П. А. Столыпина), садовод (сад под 150 ульев), кузнец (кузница на большаке в деревне Заозерье), мастеровой и механик (веялки, сеялки, самопряжки, ткацкие станки), мельник (мельница на реке Узе), а также камнетес. До недавнего времени неподалеку от Ситовичей еще лежал, да, возможно, и теперь никуда не подевался огромный валун с глубокой и широкой трещиной посередине. Это его пытался взорвать на жернова мой дед Гриня, да на такую махину пороку не хватило, и жерновых дел мастеру пришлось довольствоваться более мелким каменным матерьялом.

Дорога на хутор и вокруг него, три мостика, осушительные канавы, мочила для льна, сад, рига с гумном, скотный двор, баня, изгородь вдоль леса (все это я помню) находились в полном порядке вплоть до начала новой, колхозной жизни — лиха лихущего, горя горящего.

И все это благолепие было осилено своим горбом, лишь с помощью второй моей бабушки Прасковьи да семерых ее детей — Петра, Тимофея, Николая, Василия, Дмитрия, Анны и Анастасии.

Григорий Дмитриевич не брал в рот спиртного, не тратил время попусту на праздные забавы вроде рыбалки, но был страстным охотником. Он имел пару дорогих ружей и смычок гончих костромичей. Выжлец и выжловка были так хороши, что владелец имения Заозерье Николай Аничкин предлагал за них баснословную цену — по сто червонцев за собаку. Куда там! Мужик и слышать не хотел о продаже. И барин этого не простил.

Однажды, в день Покрова, по первой пороше дед полесовничал в казенном Клину, где охота разрешалась. Гонный заяц, преследуемый собаками, выскочил на барское

поле и понесся по озими. За ним устремился разгоряченный азартом охотник. И вдруг — на конях барин с псарями!

— Григорий Дмитриев сын, кто тебе дозволил топтать мою озимь и гонять зайцев по моей земле?

— Ненароком вышло, Миколай Миколаич...

— Да ты еще и разговариваешь? Эй, доезжачие, влепить ему двадцать пять горячих!

Трое псарей спешили, схватили охотника за руки, свалили наземь и отходили арапниками ни за что ни про что.

Дедушка не проронил ни звука и отправился в уездный суд с челобитной. Он судился с барином целых два года, дошел аж до Сената, но все-таки нашел управу на самодура. А в семнадцатом страшном году скрыл его и уберег от озверевших мужиков, приютил на своем хуторе и помог отправиться в трудную дальнюю дорогу.

Самородок, добряк и гордец дедушка Григорий покоится на погосте Жаборы, где пять лет спустя я был крещен. Там же обрела последний приют и моя любимая бабушка Паша, знахарка и вещунья (могла заговаривать кровь и змеиные укусы, врачевала словом, гадала на бобах, знала целебные тайны трав). Она сочиняла духовные стихи, была большой богомолкой и труженицей, каких поискать.

Таковы мои глубинные корни.

А сам я родился 17 августа 1923 года на хуторе близ деревушки Ситовичи Порховского района Псковской области. От Ситовичей теперь осталась всего-навсего вековая липа, посаженная моим предком Григорием. А когда-то в деревне было дворов тридцать пять. Но радетели колхоза

«Красные Ситовичи» да Великая война уполовинили на-
родонаселение. А совхоз «Полоное», что захватил ситов-
ские угодья, поставил точку — полонил и стер с лица земли
последнюю хату, огрызнувшись: «Неперспективка!».

Моя родительница Мария Васильевна в молодости, да
и в зрелые годы, статью и ликом была прекрасна. В округе
не встречалось ей равных. Замуж она вышла в восемнад-
цать лет, а к двадцати двум у нее уже были я и брат. Все у
юной хозяйки ладилося, до всего доходили ее нежные руки.
Мы росли и воспитывались, окруженные материнской
заботой и горячей разумной любовью. В большой чести у
нас были свобода и самостоятельность.

Спокойная, умная, хозяйственная, доброжелательная и
ласковая молодуха-хуторянка считалась любимицей
деревни. И жители Ситовичей, когда разразился погром
сельщины, избрали ее председателем колхоза.

Папаша был не так наивен — от всех колхозных чинов
деликатно отказался и пошел ночным сторожем «обче-
ственных» социалистических амбаров, в которых добра
было хоть шаром покати.

Лямку «колхозной главы» мама тянула четыре года,
вплоть до отъезда нашей семьи под Усть-Лугу, в поселок
Котлы.

На хуторе было три избы: наша, батиних сестры Анны
и брата Тимофея. Жена Тимофея Григорьевича, милейшая
тетушка Ольга, моя няня и радетьница, была портнихой
высокого класса. И имела отличный голос. Мама пела тоже
очень хорошо. На супрядки собирались рукодельницы
певуньи-девушки из Ситовичей, благо хутор был
близехонько; приходил большой любитель пения хворый
Иван, по прозвищу Комиссар; нередко и подолгу

у нас гостила на хуторе гостила немка из Пскова, танте¹ Эмилия, тоже прима-певица, моя первая учительница немецкого языка. Эмилия Фердинандовна, прозванная мною «Дер шток», была дамой добродушнейшей, но, когда я озорничал, утихомиривала меня фразой: «Во ист дер шток?»².

А на супрядках между тем зажигали большую пятнадцатилинейную лампу (редкость по тем временам), все садились за работу и пели. Да как пели! Наверное, годов с двух я без памяти влюбился в русскую песню, перед которой и сейчас преклоняюсь. Особенно когда наши песни и романсы исполняют такие чародеи, как Борис Штоколов, Николай Гедда, Людмила Зыкина.

О вечера на Гришином хуторе!..

За плечами моей матушки долгий, трудный и светлый путь, путь правды, совести и чести. Разве обо всем поведаешь...

Мать живет со мной. И нынче, в свои восемьдесят семь лет, она солнечна лицом, обаятельна, шустра, обходительна и гостеприимна (многие писатели, да и не только они, знают это и не забывают хлебосольную хозяйку). От нее не услышишь и полжалобы (а житье со мной — не мед). Всё ей ладно и складно, все — хороши. Она — неустанная работунья: все домашнее хозяйство лежит на ней. Мама считает меня мальчишкой и жалеет до самозабвения. Я обожаю ее и, целуя дорогую седую головушку и золотые рученьки, уверяю себя и вас: «Без матушки как без рук!». Да продлит Всевышний дни ее!

Но вернемся на Гришин хутор.

¹ Тетя (нем.).

² Где палка? (нем.)

Большенный, похожий на гумно пятистенок деда стоял в полуверсте от деревни, на самом краю леса, именуемого Клин. От Клина — древнего драгоценного дара природы, разросшегося на двадцать квадратных верст, — теперь остались рожки да ножки. Вместо вековых елей, берез и осин там расплодились серый олешник, черемушник, волчья ягода да непролазный подлесок. Стало здесь пусто — ни зверей, ни птиц, ни ягод, ни грибов.

А что это было за чудо — лес Клин — еще в мою мальчишескую пору! На верхотуре могучих елин гнездились соколы, канюки, тетереваты, иные мелкие ястребы, вороны, клесты; в осиновых дуплах жили филины-неясыти, желны, вертишейки и, пожалуй, лешие (случалось мне по ночам слышать отголоски их шабаша); в стене черных ольх за речкой Гусачкой ютились постоянные жильцы — эхо и немой призрак (сам однажды видел); в кустах проживало множество птичьей мелюзги — коньков, лазоревков, корольков, поползней, дроздов, иволг, зарянок... Водились тут и косули, и летяги, и мышловки-сони, и ласки, и горностаи, и выдры (по рекам), и находили приют змеи — множество гадюк, которых я нисколько не боялся и не жалел.

По деревьям я лазал не хуже векши и знал множество птичьих гнезд, разорять которые в нашей семье считалось большим грехом. Однажды, взобравшись на обессученную старостью высоченную елку, на верхотуре которой было ястребиное гнездо, а в гнезде два крупных пушистых птенца, я пытался кормить их черничным пирогом. И тут меня атаковали расшвиравшиеся родители-тетереваты. Они расшматовали на мне рубаху и штаны, поцарапали и поклевали спину, после чего сбросили на землю. Метров с двадцати, если не выше, я летел вниз и жажнулся мягким местом в мох.

Наш Клин окружали три колыбели моего детства — река Уза, речка Веретенька и речушка Гусачка. Это они напоили мою Музу живой водой. Лес да речки (больших рек не люблю) всегда были моим вторым домом. И доньше мы с лесом и водью «на ты».

И хотя в Ситовичах я прожил всего одиннадцать изначальных лет, отпущено здесь мне было столько, что не истратить и за всю жизнь. Гришин хутор и все, что его окружало, — родители и родня, первая школьная учительница Зоя Ивановна, мужики и бабы, вдохновенный труд тогда еще на своей земле, жаркие престольные праздники, незамутненная варваризмами и аббревиатурами русская речь, вера в Бога, неколебимая в моей душе, — было началом всех начал, первой вехой на моем крутом, но безусловно счастливом пути.

Годков с четырех с мальчишками, а то и без них, бегал на Гусачку и Веретеньку ловить решетом व्यюнов и гольцов, наведывался на Узу за раками, ходил в Клин по грибы и по ягоды, которых нарастало навалом.

Пяти лет от роду, выученный двоюродной сестрой Катей азбуке, я прочитал в сборнике Ивана Бунина стихотворение «Листопад»:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца...

Это поразило: ведь именно так и было в нашем лесу!.. А назавтра вечером я отбывал наказание — стоял в углу за своеволие (спозаранку сбегал на реку Узу ловить раков: километра четыре туда, столько же обратно да вдоль берега сколько; и все лесом, по лесу, в лесу — благодать!). В этом самом углу, от переполнившей радости и нахлынувшей обиды, на меня и «нашло»: я сложил свое первое «Стихотворение про синюю речку и рыжую тетку». Не знаю, почему «рыжую». Ведь милейшая тетушка Оля, моя вторая мама, не была рыжей. Ее коротко остриженные волосы имели серебристо-льняной цвет от природы и ранней седины, а курносое, с очками в роговой оправе лицо было бронзоватым от загара и лучилось светом ее большой русской души. Видно, это для красного словца сочинилось с пылу с жару. Но упрекать меня не стоит: ведь тогда я не имел никакого представления о художественном вымысле. Наитие! От того первосочинения осталось в памяти:

Речка синяя моя,
Без тебя как без рук я!
Ольга рыжа, что лиса,
На носу два колеса.

С того и началось.

Сеструха Катюша научила меня не только чтению и письму, но привила любовь к книге и неутолимую жажду Поэзии. Она была моей первой слушательницей и поэтической наставницей, ибо знала толк в стихах и сама их сочиняла.

В конце двадцатых годов Катя выиграла по лотерейному билету «Библиотеку русских классиков» — сто книг. И все их подарила мне. Я зачитывался «Медным всадни-

ком», «Мцыри», «Коробейниками», «Светланой», «Соловьиным садом», лирикой Афанасия Фета, песнями Алексея Кольцова, одами Гавриила Державина, стихотворениями Аполлона Майкова, Федора Тютчева, Алексея Толстого, Ивана Бунина.

Однажды во время летних ливней я было утоп. Екатерина Тимофеевна отыскала меня на дне Веретенки и откачала.

Весной и летом 1944 года, чуть ли не ежедневно, она ходила ко мне в ленинградский военный госпиталь и проносила колбасу, шоколад, фрукты... И только потом, когда ее уже не стало, я узнал, чего ей стоили эти дары: она их приобретала за сданную кровь свою. Да будет ей пухом земля!

В конце двадцатых и начале тридцатых годов на хутор к Анне Григорьевой, одинокой старой деве, каждое лето приезжала из Ленинграда ее сестра Анастасия Григорьевна, или тетя Тася, врач «Большого дома». С нею были дочь Лиля и сын Алеша, почти мои ровесники. Тетя Тася привозила много детских книжек, больше стихов, из которых каждый вечер декламировала нам. Из прозы помню лишь «Приключения барона Мюнхгаузена». (Но эти «приключения» я уже знал: тante Эмилия читала их мне на немецком языке до встречи с русским переводом.)

Все привезенные книги являлись советскими изданиями. Из них мне врезались в память «Крокодил», «Мойдодыр» и «Муха-цокотуха».

17 августа 1929 года, в день моего шестилетия, тетя Тася поднесла мне кружку вишневого варенья и две размалеванные книжицы. Я сидел под большой березой, уплетал варенье и улаждался подаренными стихами:

Жил в Камаринском селе
Бедный мужичок.
Все богатство у него —
Беленький бычок.
Далеко среди лесов
Жило семь воров.
А у тех семи воров
Было семь коров.
Семь коров без молочка —
Не было бычка.
Раз забрался ночью вор
К мужичку во двор.
Вор украл у мужичка
Белого бычка.
— У воров теперь бычок! —
Плачет мужичок...
Не понравилось бычку
У лесных воров:
Заскучал, пошел домой
И увел коров.
Рад бычок был мужичку,
Мужичок — бычку.
В пляс пустился мужичок,
Закрутил усы,
Нацепил бычку звонок,
А себе — часы.
Дом, коровы и бычок —
Счастлив мужичок!

Это была «сказка про белого бычка». Власть насладившись вместе с мужичком и бычком, я взялся за вторую книжку. Называлась она, если не ошибаюсь, «Колбасный цех». Производственная, так сказать, лирика. На первой странице этого «Цеха» был изображен здоровущий дядя в фартуке, спрятавший за спину почему-то красную руку

с огромным ножиком-свинорезом. Другой рукой он чесал за ухом у толстой и очень симпатичной хавроньи. Под рисунком крупными буквами были напечатаны такие стихи:

Почешут, понежат.
Ложится свинья,
Потом ее режут
Ножом остря...

В марте 1991 года (далеко не впервые) по первой программе Всесоюзного радио пара борзых актеров лихо исполняла «Муху-цокотуху» дедушки Корнея Чуковского. Из репродуктора гремело двусмысленное двугласие:

Вдруг какой-то старичок-паучок
Нашу муху в уголок поволок...

Мне невольно вспомнилась несчастная хрюшка из детской книжки двадцатых годов и как

Потом ее режут
Ножом остря.

Где-то в третьем классе тяга к сочинительству сделалась во мне такой беспокойной, что целых два месяца — сентябрь и октябрь — после школы я убегал в лес и писал там стихи. Писал с натуры, стараясь изобразить словами осеннее великолепие. У меня не получалось ничего путного, и я плакал сиротливо под пылающим багряным кустом. Потом, нагоревавшись, снова брался за карандаш — награду за стихотворение в школьной стенгазете. Премия за стихи! Как тут было удержаться от искушения вообразить себя поэтом?..

С годами стихотворческие приступы не проходили, но повторялись все чаще — больше всего осенью. Они, хвала

провидению, и посейчас тревожат сердце. Осень и теперь — самая плодотворная и любимая моя пора.

В мае 1934 года я получил «Свидетельство об окончании Веретенской сельской школы первой ступени» (4 класса). Оценки по всем предметам стояли «оч. хор.», а вот поведение — «уд.». Этим же летом мама увезла меня в Котлы, где уже поселилась наша семья. Первоначальный период моего житья-бытья закончился.

Мое детство и отрочество в Ситовичах были окружены любящими и любимыми людьми и благодатной природой. И с хутором я расставался горестно. Да, если признаться, я и ныне не перестал вздыхать о нем, как о минувшей первой любви.

Котлы — приграничный военизированный поселок с аэродромом, стройбатом, пограничниками и военными моряками — встретили меня ревом истребителей, фырчаньем грузовиков, пеньем марширующих матросов и эстонской скороговоркой (изрядную долю местного населения составляли эсты да ижоры). Речь здешних русских тоже отличалась от моей: тут не говорили «чаво, рябяты, куды,мень, стрекава, баркан», но — «чиво, рибята, куда, налим, крапива, морковка». Я был ошарашен непривычной действительностью: увиденное и услышанное мне казалось диким.

В Котлах родители снимали полдома в Малом Конце (был там и Большой Конец) у хороших людей, Ефима и Евфросиньи Спиридоновых. У них был сын Вася, с которым я в первый же день своего новоселья крепко сдружился.

Новый приятель перезнакомил меня с местными мальчишками, двое из них — мои одноклассники Федор Каменский и Виктор Рябов, вполне самостоятельные люди, боль-

шие вольники, певуны и удильщики — стали моими задушевными корешами. Рано повзрослевшие добытчики средств к существованию (у Феди отец был казнен в 37-м, у Вити — находился в нетях) не могли не вызвать моего сочувствия. Я и сейчас вспоминаю их с братской привязанностью.

До нового местожительства мы с мамой добрались в полдень. А ближе к вечеру отец повел нас на речку, которая протекала в трех километрах от Котлов. Господи, что это был за подарок мне — река Сума! Открытие и откровение, красота и ласка, колдовская песня, бесконечно близкое живое существо, которое с первой же встречи так глубоко проникло в душу, что я едва не тронулся от радости.

Мы купались в Митькиной яме, глубочайшем омуте в устье Кривого ручья (Кару сари — «Медвежьего ручья» — по-эстонски). В ручье бежала прозрачная, как роса, родниковая водица и водилась прекрасная форель, второе имя которой ей больше соответствовало — красуля. Позднее я вылавливал ее десятками.

Всю ночь я не мог уснуть от переполнивших меня впечатлений и сочинял стихи о счастье.

В первый же выходной, чуть свет, отец увел меня удить форель на далекую Толдовку — угрюмоватую каменистую ледяной воды речку в диком сосновом бору (тогда еще не перевелись дикие, а точнее, диковинные места на земле нашей). И я опять причастился благодати.

Время ушло уже далеко за полдень, солнце не жгло, а ласково грело. Речка переливалась нежнейшей августовской голубенью и радужными солнечными бликами. На перекаате играли крупные форелины. Лес дремал, источая дух живицы и хвои, а заросли прибрежной таволги и сурепки истекали дурнопахнущим и медом. Как же хорошо здесь было!

Я сидел на плоском валуне и глядел на поплавок, крутящийся и подпрыгивающий в водоворотце. Две очень большие форели уже сокрушили мою леску в шесть конских волосков, и я был начеку. Вдруг позади меня что-то прошелестело, потом кто-то живой стал тереться о спину. Я оглянулся и не поверил глазам: медвежонок! Был он ростом с небольшую собачонку и нисколько не боялся меня. Лохматый малыш бесцеремонно забрался ко мне на колени и тихонько заскулил. Я почесал у него за ухом и в ответ услышал что-то вроде умиротворенного похрюкивания. Дал зверенышу кусок хлеба с вареньем. Тот, не отнекиваясь, съел подачку и облизнулся. И тут!.. у переката раздался предостерегающий рев, и медведица, ростом с сенную копну, заковыляла ко мне. Вопя благим голосом, я пустился к отцу, который рыбачил за поворотом. Глупый медвежонок увязался за мной, думая, что с ним играют. Сзади сотрясала землю разгневанная его мама.

Отец, увидев и уразумев опасность, нависшую над мной, бросился навстречу медведице, предварительно отогнав от меня медвежонка. В его руке сверкнул охотничий нож.

— Беги к стогу, отвяжи Полаза!.. (Гончара мы взяли с собой для разминки. Но к вечеру, чтобы не остался гонять в ночь, привязали у стога.)

Время подоспел пес. Отец крутился вокруг толстой сосны, а разъяренная медведица, поднявшись на дыбы, старалась запустить в него когти. Полаз вцепился в ляжку зверюги, и это спасло отца.

В конце концов, медведица не устояла: отбиваясь от наседавшей собаки и гоня перед собой медвежонка, она перебралась через речку и скрылась в мачтовом сосняке.

А мне было страшновато и любо. И я, совсем некстати, подумал вслух:

— Увидь такое сам Иван Шишкин, наверно, написал бы новую картину — «Вечер в сосновом лесу». У него бы получилось еще как!

Возвращались из похода мы уже в потемках. У дома отец остановил меня:

— Рыбалка была что надо!.. Знаешь, давай не скажем мамке про медведицу, а то еще на Толдовку не отпустит.

— А Полаз? Мама ведь догадается, что тут что-то не так: у него же губа разорвана и шкура на боку спущена.

— Пса, конечно, жалко: досталось ему на орехи. Ну да ничего, подлечим. Заживет. А в лесу мало ли с кем он сразился, поди узнай.

— Твоя правда, батя.

Прошу познакомиться с ним.

Отец мой был человеком глубоко русским, незаурядным, странным и трагическим, словом — личностью.

В Первую мировую войну унтер-офицер Николай Григорьев показал себя храбрым воином. В одной из атак ротный был убит, и тогда роту повел отец. Наши пошли врукопашную, взяли немецкие укрепления, захватили три артиллерийские батареи и больше сотни пленных. В том бою отца тяжело ранило. И Георгиевский крест украсил его простреленную грудь.

После лазарета в Москве отца произвели в офицеры и назначили командиром роты в войска генерала Алексея Брусилова. И снова он отличился летом 1916 года в Брусиловском прорыве, был вторично ранен и демобилизован.

Стихи родитель мой любил до самозабвения, знал их множество и недурно читал наизусть. Особенно читл по-

этов Афанасия Фета, Алексея Толстого и Семена Надсона. Сочинять, по его словам, пристрастился смолodu. В 1916 году в Варшаве вышла небольшая книжка «Николай Григорьев. Стихотворения». Автору было тогда двадцать девять лет. Одно стихотворение из этого сборника отец почему-то любил больше других и иногда читал мне его, особенно на рыбалке ночью у костра. А вообще он никогда не афишировал своих произведений, хотя было их написано с дюжину толстых тетрадей в кожаных переплетках.

Светлана, дочь моей любимой двоюродной сестры Екатерины Тимофеевны, пишет, что Николай Григорьев был автором нескольких поэм:

«Я очень благодарна матери, что она много рассказывала, всегда с неизменной симпатией, о своих родных (о тебе особенно много), и дядю Николая я тоже очень живо представляю именно благодаря ее рассказам и чтению наизусть его народных поэм».

Спасибо, дорогая Света, за добрую память! Я знал лишь об одной поэме отца — «Коммунисты, Бог и дьявол», сочиненной им в Котлах летом 1936 года.

Стихи отца в толстых тетрадях погибли в пожаре Великой Отечественной. Но я помню любимое детище Николая Григорьева и дорожу им как частью души близкого и родного мне человека, поэта, которому не улыбнулась Муза. Вот оно:

Я вышел на улицу утром вчера —
Чуть лилися струи рассвета.
Повсюду уж осени скучной пора
Сменила отрадное лето.
Мороз серебристую ткань на земле
Соткал. И уныло глядели

Деревья в холодно-недвижимой мгле,
И листья на них онемели.
Над сумрачным лесом, в туманной дали,
Поднявшись в небо высоко,
Неслись, без умолку крича, журавли
Куда-то далеко-далеко.

Если бы душа твоя порадовалась моим воспоминаниям, батя мой дорогой! Ведь было бы безбожно с моей стороны не помянуть тебя добрым словом: и должник я твой вечный, и кто же, если не я, нынче помянет и оплатит тебя?

Родители мало донимали меня и брата опекой. Мать, бывало, еще поворчит, стараясь приструнить, когда мы уж очень разбаловывались: ну там, в колхозный сад заберемся, или без дозволения сутки-другие проведем на речке, или подеремся до крови, — мать пожурит. А отец только усмехнется.

Однажды, когда меня крепко поколотили старшеклассники, я пожаловался отцу.

— Упаси тебя Бог обидеть слабого. А сильному обидчику дай сдачи. А не можешь — сумей отстать, не празднуя труса при этом. Но не ябедничай: дохлое это дело. Понял?

Реки и речки: Сума, Толдовка, Систа, Кямишь, Святая; озера: Глубокое и Бабинское — заполонили душу и плоть мою.

Река Сума была заглавной среди них, «самой-самой». Она текла в довольно глубокой впадине, по неширокой луговой пойме, окруженной ласковым смешанным лесом. Километров через пять, сделав большую петлю, приняв Толдовку и несколько ручьев, поздоровевшая Сума направлялась в обратную сторону, пока не впадала в бы-

струю лососевую Систу. Верхнее и нижнее русла — Первая речка и Вторая — бежали почти параллельно: одна — вперед, другая — назад. И было от Первой до Второй рукой подать.

Светловодная, скорая на перекатах, извилистая, со множеством омутов (да еще какой глубины!), река затравела на мелководьях, которые мы переходили вброд.

Сколько же разной рыбы было в Суме! В ее верховье (куда мы с отцом нередко навещались) водились форели и хариусы, а осенью сюда заходили лососи. Ближе к устью гуляли стаи язей. Веснами почти на каждую донку садилось по налиму. А летом мы удили шук и окуней, плотву и ельцов. Нередко на крючок попадались и крупные рыбины. Однажды отец поймал на блесну щуку в полпуда весом, а мой друг Витя Рябов подсек двухкилограммовую плотву: в магазине, где ее взвешивали, не хотели поверить! А какие раки таились в береговых норах и корнях: не замухрышки-семечки — лапти! И столько малины было в прибрежных зарослях, особенно на Второй речке!

Немудрено, что три месяца летних каникул (почти каждый Божий день, да и ночей сколько!) я проводил на рыбалке.

Чего тут не приключалось!

Как-то взял меня батя на рыбалку с ночлегом. Обосновались на Митькиной яме: тут и форели поклевывали, да и другие обитатели трехсаженного вира не брезговали нашими червяками-выползками. Сидим, значит, у костра, пьем смородинный чай, вслушиваемся в беспокойные звуки ночи и ожидаем зарю. Косматый туман пошевеливается за рекой, сизый дым трепыхается и стелется над Кривым ручьем. Месяц-ветух полуосвещает белесую зем-

лю, иссиня-темную стену ельника и переполненную грозой черную тучу... Проползает десятка два тягостных минут. Темнота сгущается, переходит в тьму крошечную. Ночные бормотания и перешептывания замирают, уступая власть мертвой тишине, тягучей и тревожной. Неожиданно в этом заколдованном царстве блесит ослепительно лиловый зигзаг. Вослед ему — пушечный треск такой силы, что в ушах у меня застревает колотье, переходящее в свистозвон. И пошло: заревел ветер, застонал ельник, завсхлипывало небо, загрохотала тьма. И обрушился ливень.

Мы сиганули в лес и там укрылись под густой елкой. Другой такой грозы я не припомню. Пыхало, лило и гремело часа три подряд. И вдруг в полусотне шагов от нашего убежища из ничего возник светящийся ком. Мне показалось, что кто-то идет с зажженной «летучей мышью». Что за чудак вздумал бродить в такую непогоду и тьму, пусть и с фонарем, по лесу? «Фонарь» небыстро двигался в нашу сторону, то опускаясь почти до земли, то поднимаясь на несколько метров над землей.

— Батя, батя! Гляди! Кто это такой идет к нам с фонарем?

— Кажись, шаровая молния пожаловала. Стой, не дергайся.

Диковинка была почти рядом.

— Замри! — спокойно приказал отец.

Огненная штука проплыла в двух шагах от нас. Она и впрямь была похожа на зажженный фонарь «летучая мышь». Контуры ее были размазанными, нечеткими, матово-красно-лилового цвета. Она часто и однотонно потрыкивала: «Трык-трык-трык!...». Плыла «дочь грозы» медлительно, иногда останавливаясь и вращаясь вокруг себя.

На наших глазах небесная бестия уперлась в ель, как бы силясь спихнуть преграду со своего шалого пути. Из такого противоборства, знамо дело, не могло выйти ничего путного. Раздался ужасающий взрыв — будто рвануло вагон тола (мне в войну случалось быть слушателем таких взрывов: очень похоже).

Дерево в два обхвата толщиной было срублено под корень и стало ворохом щепок. Мы тоже рухнули в мох, но отлежались, поднялись и отправились продолжать прерванную рыбалку, благо утро уже наступило и дождь переставал.

А вот еще такое происшествие стоит перед глазами. Батя и я удили окуней на Поповой яме. Подходящий это омуток: и глубина, по заключению огольцов, «ого!» — не всяк ныряльщик дно доставал (по себе знаю), и окуни там жили тоже «ого!» — «горбыли»!

Неподалеку от нас, в молодой отаве уже скошенного приречного луга, паслось стадо деревни Рятель (в те поры крестьяне еще имели обыкновение держать коров). Буренки пощипывали себе травку, а мы то и дело подсекали полосатых красноперых рыбех. Кругом солнышко, затишье, умиротворение и еще что-то неизъяснимое, чистое и возвышенное, завораживающее душу и наполняющее ее верой и любовью. Наверно, это и было счастье, а может, и сама Божья благодать.

Сами собой, легко и складно, роились рифмы, вязались в стихи, переполняя меня лихорадочным восторгом. Их бы записать с пылу с жару, да где там: поплавок ныряет, удилище сгибается в дугу и колючий «горбыль» брыкается у меня в руках. Клюет! До карандаша ли тут.

— Ничего окунек, — батя «полегал» добычу, — фунта с два потянет...

Его слова перебил истошный человеческий крик. За воплем раздалось жалобное мычание перепуганных коровенок, вслед которому прокатилось трубное, страшной злобы, муканье быка. Огромный бугай швырял и подбрасывал на рожищах пастуха.

Отец схватил горящую в костре валежину и крупным скоком рванулся на помощь. Кое-как он отбил бедного дедка у расвирепевшего скота, взвалил раненого на плечи и, отмахиваясь от обезумевшей животины дымной головешкой, стал отступать к реке. Добравшись до берега, батя бросился в воду. Я — за ним.

Бык в реку не полез, но сокрушил наши удочки, корзинки с добычей, банки с червяками и другие манатки. Но нам было не до манаток: мы волокли тяжело раненного пастуха на шоссе на дорогу, чтобы на попутке отправить в Котлы, в больницу...

Страшные случаи быстро забывались и моего ребячьего пыла ничуть не охлаждали. Все кругом и около было своим, родным, дорогим. Чего тут было бояться!.. Спустя два года, перейдя в седьмой класс, я так узнал Суму и так настропался удить, что в этом деле мог потягаться хоть с кем.

Но не один голый азарт рыбалки гнал меня на любимую речку. Не одни только поплавки видел я перед собой в прекрасных омутах Сумы. Закаты и восходы, ночи и дни, прибрежные луга и лесные гривы, часы полного одиночества и ватага верных друзей-огольцов — становились неотъемлемой частью бытия, творили во мне Человека, будили жажду Жизни, Поэзии и Отдачи.

В первый день осени 1934 года я стал пятиклассником Котельской средней школы, где и проучился без малого три года — до весенних каникул 37-го.

Школа наша помещалась в великолепном особняке, можно смело сказать — дворце. Здесь когда-то было старинное дворянское гнездо: на фронтоне значилась дата постройки — «1837». Двухэтажное здание с колоннами, флигелями и парадным подъездом стояло на вершине довольно крутого склона. А по склону лет сто тому назад, если не все двести, старыми хозяевами имения был разбит большой парк из вековых лип, кленов и ясеней, в тридцатых годах XX столетия побитый и заброшенный «молодыми хозяевами земли», которые «покоряли пространство и время».

Учился в Котлах я не ахти как: не хуже, да и не лучше многих ребят. Школа была как школа, педагоги — люди как люди, кроме одного — учителя немецкого языка.

На первом же уроке, когда Фридрих Августович прочитал нам по учебник): «Ди фабрикен раухен»¹, я возразил:

— Раухен ферботен!²

— Во канет ду дойч?³ - спросил учитель.

— Их зельбст вайсс нихт, лерер⁴.

После уроков немец привел меня к себе и познакомил с домочадцами — женой, дочерью и сынишкой. Все трое совсем не умели говорить по-нашему. И я стал их учителем русского и, одновременно, учеником немецкого.

Фридрих Августович Гельманн, немецкий коммунист, поклонник ВКП(б) и друг красной Москвы, бежал вместе с семьей из проклятой нацистской Германии в страну, «где так вольно дышит человек».

Прошло месяца два-три, и я всем сердцем привязался

¹ Фабрики дымят (нем.).

² Курить воспрещается! (нем.)

³ Откуда ты знаешь немецкий? (нем.)

⁴ Я сам не знаю, учитель (нем.).

к «нашему немцу», как его окрестили школьники. Да и учитель относился ко мне по-свойски. Это был редкостный человек — мудрый, повидавший многие страны мира, крепко образованный, сердобольный, прямой и простой. И наставник настоящий. К тому же он отлично знал русский язык и писал хорошие стихи на немецком.

Сколько немецких книг я перечитал в доме учителя! Сколько народных песен услышал! (По вечерам супруги Гельманны частенько — и так голосисто, так слаженно и трогательно! — пели.)

Как сейчас вижу его кругловатое скуластое лицо с широким лбом и черными грустными глазами, его короткие усы «бланже», невысокую коренастую, слегка кривоногую фигуру. И добрую, чуть насмешливую улыбку. И слышу голос, доверительно-ласковый, негромкий, поокивающий:

— Милая Мария Васильевна, ваш сынок, мой ученик Игор — порядочный малый, но у него есть одна болезнь — ленус. Из уроков он только и знает русский да немецкий. Но зато какой ребенок, к тому же поэт!..

Слышать эти речи мне было хотя и стыдновато, но весьма приятно.

В радости, мире и вольности незаметно промелькнули три лета и три зимы.

Подкрадывался гнусный 1937-й — год кровохлёб, год людоед. Господи, какого произвола пришлось мне быть свидетелем!

Фридриха Августовича, его жену и детей, семи и пятнадцати лет, обвинили в шпионаже и прикончили. Батек почти всех моих приятелей посадили и вскоре расстреляли.

Многих из них я знал: это были простые люди — кре-

стьяне, рабочие, русские, эстонцы, ижоры... Я ломал голову и не мог уразуметь: как это самый что ни на есть народ стал «врагом народа»?

И тут страшная чаша недоумения, страха и жалости переполнилась. Вот что было последней каплей.

В нашем доме жил бывший священник, девяностолетний отец Иван. Он учил меня добру и смирению, рассказывал о старом времени, давал читать интересные — не запрещенные — книги, помогал, чем мог. И лишь иногда, глядя в пол и протягивая деньги, почти умолял:

— Сыняше, принеси мне лекарство от всех скорбей!..

Я отправлялся в железнодорожный магазин и покупал там бутылку «московской», которая стоила тогда шесть рублей...

Еще полгода тому назад мама и папа вдруг «не сошлись характерами» и расстались. Сказав матери на прощанье: «Будь благополучна, дорогая!» — и земно поклонившись, отец забрал брата Льва и гончара Полаза и насовсем уехал под Псков, в поселок Плюсса. Я остался с мамой...

Было утро первого дня весенних каникул. Отчим и мать уехали на работу. Разбуженный шумом и суматохой, я выплянул за дверь. А там!.. В сенях два мента за волосья волокля отца Ивана. Начальник со «шпалой» в петлицах держал несчастного за сивую бороду и погано ругался. Священник не сопротивлялся и молчал.

Я заплакал:

— Товарищ капитан, дяденька начальник, не надо! Пожалейте дедушку. Он совсем старый и никому не сделал никакого зла!

Но меня будто не слышали. Тогда я попытался силком освободить бороду батюшки, вцепился зубами в пятерню изверга. Товарищ капитан завизжал, повернул меня спи-

ной к себе и изо всей мочи хватил носком хромового сапога под зад. Я отлетел за дверь нашей комнаты, сплунул кровавую лепешку и бросился в угол, где стояла большая прутяная корзина. Там лежал «ТТ» отчима (тогда офицеры имели личное оружие).

— Руки вверх, гады! — заорал я, махая пистолетом.

Начальника и его ментов как ветром сдуло. Трясаясь и захлебываясь от слез, я наклонился над отцом Иваном. Дедушка был мертвый.

Скандалная вышла история, да и мал я был тогда, поэтому меня не тронули, но «посоветовали» держать язык за зубами и убираться из Котлов, куда глаза глядят. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться вслед за отцом, подальше от греха: с властями в то безвременье шутки был плохи. Кстати сказать, отчима «за халатное отношение к оружию» исключили из рядов ВКП(б) и убрали из Котлов — перевели в военный городок Гора Валдай, базу форта Красная Горка.

Отроческий период моей жизни, такой животрепещущей и благополучной, закончился горьким горем: в начале апреля 1937 года я простился с матерью, с друзьями, с рекой Сумой и переселился на Псковщину, где предстояло вкусить самостоятельной жизни и провести семь лет.

Избушка наша в поселке Плюсса (Совхозная улица, дом 8) упиралась в кочковатое закустаренное болото, из которого вытекал ручей, превращенный в глубокую канавину. (В войну в этой щели мы прятались от бомб. Возможно, кто-то занедоумевает: «Как это прятаться в канавенручье? Ведь там же вода и грязь». Поскольку дело это бывалое, поясню: когда с неба, чуть ли не на голову, сыплются бомбы — грязь в убежище, а тем более вода не в счет. И не в такую дыру залез бы, кабы подвернулась!..)

Но до войны еще целых четыре года, поэтому пребудем в мире и войдем в наше жилище. Две клетушки о трех оконцах, двадцать квадратных шагов жилплощади — пять в длину, четыре в ширину — вот что такое наша избушка. В кухне было одно окошко, большая плита справа, помост из досок у задней стенки — моя и братова постель, колченогий стол, скамейка и три табуретки. В спальне — письменный стол, железная кровать отца и пара стульев.

Когда-то в этом строении находилась сушилка. Но мы в сушении не нуждались, ибо и так были довольно сухи благодаря тогдашним харчам. Жили по принципу: не до жиру, быть бы живу. С нами на равных проживали два славных существа — высоких кровей гончар, англорусский выжлец Полаз и крупнуший, с полпса ростом, полосатый кот Касьян, который нередко приносил в дом то зайца, почему-то черного цвета, то тетерку белого пера, то еще чего съестного.

Теперешняя Плюсса, в которой поселилось множество сельских беглецов двух тогдашних районов — Плюсского и Лядского, не идет и в какое сравнение с Плюссой моей юности. Тогда это был ухоженный поселок с населением под две тысячи душ (сейчас тысяч семь человек). Железнодорожный вокзал, три магазина, столовая, казенка, пивная, даже церковь (наглухо заколоченная) были бревенчатыми. Каменных строений имелось только два — Белая школа, где учились первые-шестые классы (бывший помещичий дом) и пожарка. Да и здешние улицы можно было на пальцах пересчитать — не больше пятнадцати значилось их в райцентре.

Почти все плюссичи знали друг друга и относились один к другому доверчиво и доброжелательно, по-русски простецки и задушевно. Разные у всех были характеры и

судьбы, но добрые люди умудрялись жить в мире и согласии, будто большая ладная семья.

Имелись в Плюссе люди особенно почтенные, знаменитые на весь район, а то и дальше. Не партфункционеры, не совкраснобаи, но великие труженики, мастера золотые руки, чудодеи-умельцы — творцы всех статей. Упомяну граждан, особенно чтимых.

Николай Петрович Богданов — «Коля Могель»: тот, кто может. И действительно, чего только не умел он и чего только не мог. Любое дело, за которое брался этот стройный сухощавый красавец с белой повязкой на правом глазу, ему удавалось на славу — хоть земледелие, хоть механика, хоть торговля, хоть еще что. Он был закоперщиком многих новых начинаний, которые обязательно доводил до благополучного конца. В Плюссе его еще величали заводилой.

Я и нынче дружу с милыми дочерьми Николая Петровича — Людмилой и Ларисой.

Константин Константинович Лапин, учитель химии и биологии, наш строгий и благородный «Кассин Кассинич». Высокий, костлявый, лысый, горбоносый и больше ротый человек этот светился светом, который может излучать лишь чистая неподкупная совесть.

Меня к нему притягивало, как гвоздь к магниту. В судьбе моей он принял отеческое участие и сыграл важную роль, о чем ниже расскажу...

Был Константин Лапин хозяином, каких поискать, образованнейшим педагогом, глубоким и тонким знатоком человека, врачом телесных и душевных недугов наших, мудрецом и непререкаемым авторитетом в поселке.

Иван Михайлович Воронцов — «Вася Сазоновский», плотник самого высокого класса, столяр-краснодеревщик, денный и ночный труженик (я всегда ломал голову: когда же он отдыхает?), могучий человек, умница и балагур. Иван Воронцов был плотен и мускулист, рыжеват, имел крупный, с большой горбинкой нос, жилистые руки, которые, за что ни брались, все делали добротнo. Глаза у него были синие, наивные, совершенно детские, не замутненные ни злым умыслом, ни корыстным поступком. Я дружил с его сыном Сергеем, парнем лихим и озорным, но очень добрым, жалостливым и сердечным. Сережа погиб на передовой в блокадном Ленинграде.

А в дяди-Ванину дочь Раю, мою ровесницу и однокашницу, я влюбился с первого взгляда аж в 1937 году. Мы и сейчас с Раисой Ивановной остаемся настоящими приятелями.

Не одну дюжину добротных домов в Плюссе поставил и отделал почтенный Иван Михайлович Воронцов. И за всю жизнь не навредил ни одному человеку.

Дмитрий Григорьевич Жуков, атлет и борец, уложивший на обе лопатки не одну знаменитость. Ему ничего не стоило без роздыха пронести двенадцатипудовый тюк от вокзала до склада на рынке, где он работал заведующим, — расстояние метров пятьсот.

Дмитрий Григорьевич роста был среднего, но очень широк в плечах. Руки у него бутрились такими бицепсами, что напоминали канаты. Силач поднимал тонну груза, чего в Плюссе никто не мог повторить. И столь же, сколь силен, был он уравновешен, спокоен и нетороплив, даже застенчив. Про него в Плюссе бытовало мнение: Митя Жуков воды не замутит.

Степан Федорович Клемин, конюх, влюбленный в лошадей, как скряга в золото. И не только в лошадей. Я был свидетелем, как в войну дядя Степа, партизан хозчасти бригадной разведки, стоял со «шмайссером» в руках перед мясниками, заслонив трофейную стельную корову.

— Корову извести не дам! Она же с теленком! Перестреляю, коли што!..

Но тягловая сила являлась первостепенной заботой. Лошадки у конюха — все семь — были гладкие, обихоженные, на редкость чистые и ручные. За своим «нянем», когда отправлялись в ночное или на купанье, они следовали без недоуздков, как дрессированные собаки за хозяином. Они не знали норова, понимали речь конюшего и только что не умели говорить сами. Были медлительны, хрупая овес, и отличались резвостью в дороге. Поселковый люд знал, что сказать о конюхе и его лошадях:

— Кавалерия Степана Клемина!

...Весенние каникулы отвеснели. Четвертую четверть я встретил на задней парте седьмого «а» Плюской десятилетки. И в первый же день занятий попал в немилость к одноклассникам. А было так:

— О, у нас новенький! — сказал учитель химии. — Посмотрим, на что ты годен, парнище. — И стал гонять меня по таблице Менделеева.

Я был «в ударе», да и суть таблицы — валентность элементов — понимал.

— Подходяще! Честное химическое, подходяще!

Ребята мой триумф встретили без воодушевления.

Заканчивался этот день немецким. Немка, записав мою фамилию в классный журнал, предложила:

— Битте¹ к доске, геноссе² Григорьев!
— Каин геноссе, их бин камерад³, - ответил я.
— Что-что? — переспросила учительница немецкого по-русски.

И я заговорил на немецком. Но номер не прошел.

— Да ты, как погляжу, больно учен. Посмотрим, что знаешь из грамматики.

Из грамматики я мало чего знал. И жирная двойка по немецкому языку угнездилась в моем дневнике под пятеркой по химии.

Когда мы отправлялись по домам, чернявая, очень симпатичная и страшно гордая Рая Воронцова, хозяйка первой парты, бросила мне:

— Что, выхвалился? Над тобой все ребята смеются. Эх ты!.. — сказала и пошла на улицу как ни в чем не бывало.

Это было уж слишком. Я догнал девчонку и, чтобы остановить, схватил за портфель:

— Ты завидуешь мне, чернуха...

Моя корительница поглядела на меня с насмешкой и грустно повторила:

— Эх ты!.. А сумку принесешь к нам домой. Да смотри не растрясси ее по дороге!

И, оставив мне портфель, убежала за подружками.

Волей-неволей пришлось исполнять повеление гордячки. Вечером я пришел к Воронцовым. Была суббота. Хозяева только что пришли из бани и сидели за самоваром. Перед главой семьи стояли сороковка и закуска — большая сковорода яичницы со свиной (с утра я ничего не ел, вот и далась мне эта сковорода).

¹ Пожалуйста (нем.).

² Товарищ (имеется в виду — по партии) (нем.).

³ Не товарищ по партии, я — просто товарищ (нем.).

— Рая портфель просила занести, так вот я его...

— А-а, зятек! Будем знакомы. Садись к столу. Настя, место дорогому гостеньке!

— Ваня, перестань, не видишь, мальчишка со стыда стогорает... Ты, сынок, на него не обижайся, он со всеми так неуклюже шутить изволит. Ты садись за стол, подкрепись. Слыхала я про вас...

Когда, накормленный и обласканный, я уходил от Воронцовых, Анастасия Прокофьевна завернула в холстину большой шмат сала:

— Снеси твоим. У вас такого нету. Свое.

Река Плюсса протекала совсем близко от нашего поселка, всего в каких-то полутора-двух километрах. Большая река. Щедрая река. Чистая река. Родная река. Кабы не она, наше меню было бы — хлеб да чай. А так мы жили припеваючи: рыбы всегда налавливали на уху и на жаренку. И рыбы крупной, первосортной: язей, голавлей, щук, линей, налимов, даже угрей и жерехов. Про окуней, плотву, ельцов и говорить не стоит. Словом, кормились. Хотя ехидная русская пословица «ружье да уда кормят худо» в известной степени не лишена оснований.

Но удочки — это летом. А зимой — чего есть? Выручай, охота!

В четырнадцать годков я стал всамделишным охотником, получив от отца подарок в счет окончания семилетки — ружье «Лебо» и гончара Полаза. Полаз крепко помог нам продержаться в полуголодное довоенное время.

Вспоминается такой случай. Я — ученик восьмого класса. На целый год мы с братом Львом остались одни в Плюссе. После школы я бегу за стадион, в лес, на охоту. На снегу — ледяная корка после недавней оттепели, и лапы у моей со-

баки ободраны до крови. Не то что бегать, ходить больно. И пес виновато возвращается из кустов, бросив гнать поднятого русака. Долог ли зимний день? Время к закату. Мороз под тридцать градусов. Дома ждут меня выставившая плита и голодный брат. И я уговариваю псину:

— Полазушка, миленький, худо наше дело. Пожалуйста, поднимайся как-нибудь, полай: пригони косого под выстрел!

Собака понимает меня, глядит укоризненно, коротко взирает и продолжает гон. Через полчаса заяц — у меня в руках. Темнеет. Я вытаскиваю — на дрова — жердину из колхозной изгороди (благо все — наше) и, довольный, спешу домой.

Этим вечером мы сыты и в избушке у нас тепло.

А вот еще одна наша с Полазом охота. Начало января 1940 года. На градуснике — сорок мороза. Одежонка на мне — фуфайка. Валенки нет. Но идти надо: есть нечего. Обматываю ботинки тряпками. Кликаю собаку. Идем по узкоколейке к реке. Полаз поднимает русака. Я стою у кромки болотины наготове. Гонный заяц выскакивает на поле и садится в двадцати шагах от меня. Целюсь в косого, но спустить курок не могу: так заоченели пальцы. Зайчонка замечает меня, пробует прыгнуть, но падает и барахтается в снегу: задние лапы ему не подчиняются... Мороз пошел на пользу: у нас будет обед. Маню гончара. Но тот лает на одном месте и не является на зов: похоже, зовет меня к себе. Иду на лай и вижу разрытую кучу хвороста и очень крупного хоря, лежащего на снегу. Полаз виновато виляет хвостом, будто извиняется: добыть добыл, а принести не мог — больно духат бродяга. Ты уж не обессудь, хозяин.

Я не скрываю радости:

— Крупный зимний хорь — это же целый восемнадцать рублей! Молодчина, пес! — и обнимаю гончара.

Не поведать об одном «ЧП» — значит ничего не рассказать о Полазе. Однажды весной выгляц куда-то подевался. Прошло месяца четыре, наступила уже осень. Выхожу как-то утром в школу и вижу: у крыльца лежит полуживой Полаз, кожа да кости, с обрывком железной цепи на шее. Кое-как мы выходили бедолагу...

— Николай Григорьевич, — признался плюсский шофер отцу, — диву даюсь, глядя на эту собаку. Она заслуживает того, чтобы я покался. А ты меня извиняй. Охотник я. Собаколюбие во мне. Вот эфти сто рублей, за которые был продан Полаз. Они твои по праву хозяина. Хочешь знать, как дело было?

— Говори, Алексей Иванович.

— Отвез я, значит твоего гончака на машине в Лугу. А в Луге половец — на поезд его и в Питер. А там скорый - и в Москву. А из столицы, на электричке, — в Сергиев Посад. Дальше, в автобусе, до нового местожительства... И что бы вы думали: пленник сокрушил цепь и убежал домой. Недель пять был в пути, с тыщу километров, ежели напрямик, покрыв. И не сбился с дороги. Нашел Плюсу. Ну и ну!

— Такие уж мы, Алексей Иванович. Нас лучше не продавать и не покупать.

Полаз был бесподобной собакой. В райцентре и в округе не было ни гончего, ни поединщика, ему равного. Все поселковые псы — от мелких шавок до крупнущих овчарок — признавали его первенство и при нем вели себя культурно и смирно. Он прожил долгую, по собачьему счету, жизнь — семнадцать лет и пал в 1943 году от германской пули, бросившись на оккупанта.

Да будет благословенна жизнь, в которой как среди

людей-братьев, так и среди «братьев наших меньших» не переводятся существа весьма значительные и яркие. И их на белом свете больше, чем нам порою кажется.

Понадобилось полвека с гаком, чтобы понять: а ведь тогда мы жили (в удивлении), а вот теперь пребываем (в недоумении). Но по-тогдашнему жилось нам — и материально, и морально — туговато, как выразился бы соцспец нынешнего дня.

Очередь за хлебом мы занимали чуть свет, а если появлялся сахар, то с вечера становились в людской хвост. Помню, мы с Лекой глядели на конфеты «Белая ночь» и их цену — 18 руб. кг — и диву давались: неужели есть такие люди, которые едят эти конфеты?

Я подрабатывал, как мог: ловил кротов, собирал ягоды и грибы для заготовок, грузил дрова, был подсобником — «агентом по сбору пушнины» — в охотничьем магазине отца. И, конечно же, рыбалил и охотился. Брат помогал мне изо всех сил.

Веснами в реке Плюссе на донки хорошо ловились налимы, а иногда попадались и угри. И от конца ледохода до просветления и потепления внешней воды два-три раза в неделю мы ночлежничали на рыбалке.

Пару недель спустя, когда вода прогревалась и налимы переставали братья, а другая рыба еще слабо клевала, я с головой окунался в охоту, празднуя вечерние зори на тяге, а утренние — на току. Какие это были тяги! За вечер пролетит — «протянет» над тобой — вальдшнепов пятнадцать. И что это были за тока! На ином птичьем ринге билось, горланило и ликовало тетеревов по тридцать. Хорошо хоть, что стрелок я тогда был отнюдь не «ворошиловский» — большого губления природе не причинял.

Когда я учился в девятом классе, со мной приключился некий казус, который окончательно сблизил меня, даже, пожалуй, породнил с учителем химии Кассин Касиничем.

А дело было так. В субботу, после занятий в школе, отправился я в деревню Лешевницы, что находилась в семи километрах от Плюссы, на охоту. Тяги и тока там были отменные.

Я побродил по лесу и болоту несколько десятков верст, двое суток не спал, уморился так, что искры сыпались из глаз. Утром в понедельник, оседлав свою последнюю парту, я сначала задремал, потом заснул как следует и, наконец, сладко захрапывал. Класс захихикал. Шел урок химии. Учитель подошел к моей парте и долго стоял молча, качая головой. Класс затих, предвкушая потеху. А мне снился хороший сон: будто подобрался я к больше-енному, с банный котел величиной тетереvu. Птица не чует беды, токует-заливается, а я шарю в патронташе жакановскую пулю, чтобы наверняка завалить великана. И вдруг он как налетит на меня, как долбанет! Я открыл глаза. Константин Константинович, ухватив костлявой пятерней за ухо, будил меня:

— Встать, мерзавец!..

А пару недель спустя, когда педсовет решил исключить меня из школы «за неблаговидные стихи», он же, мой дорогой учитель химии, встал горой на мою защиту:

— Выгоните Григорьева — гоните и меня. Один из школы он не уйдет.

И я, вместо «волчьего паспорта», получил табель успеваемости, где фиолетовым по белому было написано: «Переводится в десятый класс».

Выпускной класс требовал серьезной учебы, так что от

приработка мне пришлось отказаться. А семья наша в это время разрослась до шести душ (мачеха, две маленькие сестренки и мы). Ни земли, ни живности, кроме гончара Полаза да кота Касьяна, у нас не было. Хлеб стоил 95 копеек кг. Зарплата отца — 400 рублей в месяц минус заем (две зарплаты в год) и налоги. Чистых — три сотни на шестерых, или 1 рубль 67 копеек в сутки на едока.

А тут новая денежная напасть: сто пятьдесят целковых в год со школьника — плата за обучение. Денег этих, видит Бог, у моего отца не было и быть не могло. И вылетел бы я из школы как злостный неплательщик, когда бы не выручил мой славный Кассин Кассинович. Он внес деньги за меня. А ведь у Константина Лапина, кроме его большой семьи да скромной зарплаты, ничего не было.

В феврале 1941 года меня вызвали в военкомат и предложили поступать в военное училище. Военком объяснил коротко и ясно:

— Все равно от армии никуда не денешься!

В марте я сдал досрочно экзамены, получил аттестат зрелости и с пятого мая стал курсантом бывшего Пажеского корпуса — Ленинградского пехотного училища. Но проучился там лишь малую толику. Заболели глаза, и 15 июня 1941 года я вернулся в Плюссу.

До конца моей юности оставалась ровно неделя. Но прошла она, и вот — «Гореванье»:

Как ты глухо стонешь, Поле,
Выбито стальной пятой.
Может, не было русской доли —
Колос не звенел литой?

Как ты горько тужишь, Речка,
Братскою могилой став.

Может быть, забиться сердечку
Первый час еще не настал?

Как ты тяжело дышишь, Небо,
Желтые крыла неся.
Может, жизни еще и не было? —
В пламени планета вся!

(1941 Плюсса)

Отечественную войну я встретил и провел на Псковской земле. Хлебнул унижения, тоски, горестных тревог, черных мук оккупации. Время-лихо, жуткое время, до предсмертного вздоха своего не перестану вспоминать о тебе! И у последней черты не отрекусь от ненависти к атрибутам фашистов, правильно — национал-социалистов: кровожадности, подлости, холуйству и шкурничеству!

Про военное лихолетье собираюсь написать роман «Горит вьюга», о котором давненько помышляю.

В годы германского нашествия было суждено мне стать руководителем плюских подпольщиков и возглавить группу разведки во вражеском тылу...

Глаголовать об оккупации, задыхаясь ли от страха, или захлебываясь от ярости, поносить ее, пусть даже самыми гнусными словесами, наделяя проклятейшими эпитетами и изощреннейшими метафорами, — все равно ничего не сказать о ней. Оккупацию, наверно, нельзя выразить ничем и никак. Разве что песней. Песни мои в оккупации были горестны.

...Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и унижение.
Умирают села, как в костре поленья...
Обмерла осинка у горюнь-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, —

Горькая не может в быть-беду поверить:
Мертвых не оплакать, горя не намерить...
(«Лихо», 1941)

Но мы слышим, слышим, слышим
Жаркий голос русской вьюги.
Да! Мы дышим, дышим, дышим —
Копим жилистые руки.
(«Непокорство», 1942)

Оккупация — это свои люди сами не свои, чужеземцы вокруг и около, анабиоз жизни, полицаи, подпольщики, есть очень хочется, но еще пуще жаждется жить. И заново нарождающаяся, попранная, но бессмертная вера в Бога, и, как Божий дар, любовь к Отечеству и свободе с надеждой на спасение и Победу.

Немцы вернули крестьянам землю. И всего за два года, без всякой техники, бабы да старики ухитрились произвести столько хлеба, что его хватило и для налога, и для прокорма партизанской многотысячной братии, и для себя, и для товарообмена, и осталось даже для пожаловавших на отвоеванную землю колхозов (хотя возвращения колхозов крестьяне боялись).

Все это и много чего иного — оккупация. Знамя у немцев было ошеломляющее: кроваво-красное полотнище (обычно из шелка), на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять же нашита, толстая абсолютно черная свастика — Nakenkreuz, «крюк-крест».

Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе испытал.

Какие же они, немцы, если судить о них не понаслышке? А вот какие.

13 июля 1941 года, в день захвата Плюссы чужеземцами, я пробрался в оккупированный поселок и завернул в нашу хату. Она уцелела от огня и железа, но там уже поселились трое солдат. Один из них, долговязый, нескладный, черный ефрейтор с мальчишеским лицом и капризными губами, на которых и молоко-то как следует обсохнуть не успело, оглядел меня и спросил:

— Тебе сколько лет?

— Через месяц — восемнадцать будет. А тебе?

— Девятнадцать было месяц назад. Давай бороться! — сказал он и, не дожидаясь ответа, схватил меня в охапку, зажав так крепко, что я едва не задохнулся.

Скажу, не хвалясь: был я в те поры хотя и тощеват с виду, да жилист. И к разного рода схваткам и борениям — от «кто кого пересидит в парилке» до «кулачков» — годился. И падать в грязь лицом перед немецким молокососом мне, русскому водохлебу, было негоже.

Вначале пришлось ой как туго, и все мои силенки уходили только на то, чтобы устоять на ногах. А потом, спустя минут десять, немец стал обмякать, и мне удалось подпятить его к сосновому пеньку, за который фриц зацепил сапогом и полетел наземь. Тут я крепко-накрепко повис на нем: как он ни взвивался, ни ерепенился, сбросить меня не мог.

За победу мягкая часть моих телес отведала подкованного немецкого сапога. Но я, пусть и такой ценой, крепко понял, что немцев одолеть можно — они хлипки: надобно только выстоять в начале единоборства, выдержать первый нахальный натиск противника и не выдохнуться. А там вали его наземь!..

Где-то в феврале-марте 1943-го на скотный двор бывшего совхоза «Плюсса» эсэсовцы пригнали роту немецких солдат-штрафников. Глядеть на этих горемык было жалко и страшно, настолько они были замордованы. На вопрос, за что их приговорили к такой жестокой пытке свои же братья и не гуманнее ли было бы просто убить их, охранники отвечали одно и то же, видимо, крепко заученное: «Осужденные — воры, которых мало убить. И каторга их имеет большой политический смысл».

Как-то к нам домой забрел один из этих штрафников. Лицо и уши горемыки были отморожены и представляли сплошную рану. На одной ноге у него был ботинок, на другой — какой-то опорок. Он рассказал, что штрафники никакие не воры, но они не угодили фюреру и «новому порядку», отказавшись воевать. И за это всех их ждет лютый конец. Еды им почти не дают. Их заставляют выполнять совершенно бессмысленную работу: уминать снег на поле, ни для чего долбить лед на реке, зряшно черпать в проруби воду, относить ведра на сто шагов и выливать на лед, на себе таскать песок из карьера и высыпать его в промоину... Помещения, где они ночуют, не отапливаются. Их бьют плетками и палками не только надсмотрщики, но все, кому не лень. Их можно забить до смерти: ведь они «воры» — враги честного райха.

И я ужаснулся: не только жестокосердый Восток, но и сердобольный Запад, воплощающий бредовые идеи вождей и партий, дьявольски безбожен.

Оккупация! Захватчики и захваченные, усмирители и непокоренные. Много чужих и еще больше своих. Своих по русскому духу и по ратному делу. Но слово мое о самых близких из близких.

Лев Николаевич Григорьев — при его жизни самое близкое и дорогое мне дитя человеческое — мой родной брат, кровный друг и почти сын. Да-да, сын, хотя он и родился всего двумя с половиной годами позже меня — 26 февраля 1926 года. Не считая редких и коротких расставаний, мы жили с ним вместе единой душой от первого его приветственного всхлипа до последнего стона, выплеснутого им в бою 26 сентября 1943 года — в семнадцать с половиной лет.

Был Лека (так его все звали) лучше меня: проще, спокойнее, сильнее, рассудительнее и, наверно, талантливее. Стихи он любил не меньше меня, да и писать их начинал не хуже, чем я. Проба его пера сгинула в огневороте войны.

К семнадцати годам Лев перерос меня на полголовы, да и плечи у него раздались пошире моих. Никто из его сверстников не мог потягаться с ним силенкою, и я в том числе. Был он белокур, лобаст и сине-синеглаз. Его крупный «римский» нос, чувственные губы и мягкий красивый подборок с ямочкой выказывали натуру влюбчивую, верную, сильную и сдержанную.

Мой брат имел тонкий музыкальный слух и очень хорошо пел.

Лев крепко жалел зверей и птиц, не любил охоту, отказывался ловить даже кротов, хотя за их первосортную шкурку заготовители платили по рублю. Но не рыбачить он не мог: чем-то надо было кормиться...

Когда у нас было нечего есть и добыть съестного не удавалось, мы довольствовались стихами. Рифмы натошак — это совсем не то, что лирика после плотного ужина и сладкого вечернего чая с пирогами. Совсем не то! Испытайте, сами убедитесь в правдивости моих слов.

Любимыми нашими поэтами были Александр Блок, Алексей Кольцов и Афанасий Фет. Сергея Есенина к нам

не пускали, и мы лишь понаслышке знали о величайшем певце Руси. Читали мы охотно поэтов-классиков. Да и прочих поэтов, если они попадались под руку, не обходили стороной. Не забывали мы и самих себя — тоже почитывали. Лев знал наизусть всю поэму Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и иногда часами читал ее собравшимся в нашем домике ребятам, а то и взрослым.

Лев хорошо знал немецкий язык (знал он и испанский), работал у немцев на продуктовом складе грузчиком и в подполье был незаменимым разведчиком. По его данным не одна груженная машина врага натыкалась на мину, а ее продукты попадали в руки партизан.

Своих домашних Лев подкармливал: то овса принесет в голенищах сапог, то крупы какой, а то и колбасину умыкнет на складе...

А вот еще незабвенное существо — Любовь Алексеевна Смурова, моя первая помощница по разведке и подполью, переводчица на плюсской бирже труда.

Любовь до конца пронесла своя тяжкий крест ратоборицы, пролила кровь свою до последней кровиночки, сгорев в пожаре Великой войны. Сгорела, чтобы подогреть в нас веру и надежду на победу и жизнь.

Люба была на год моложе меня. Внешне неброская, курносая, невысокая, крепко прихрамывающая, очень сдержанная и строгая, тихая и застенчивая. Существо это было чистое, гордое, светлое, человеколюбивое, верующее и верное. И обязательное. К войне разведчица относилась, как к необходимой работе, которую надо делать любой ценой.

Весной 1943 года Люба Смурова и я ходили на связь с подпольным центром, который находился тогда у дерев-

ни Машутино Стругокрасненского района. Дорога наша была неблизкой — двадцать два километра туда и столько же обратно, да там немереные версты.

Из Плюссы мы вышли ранним вечером (когда немцы ужинали). За ночь надо было управиться с делами и вернуться домой, чтобы «комар носа не подточил».

Мы миновали совхоз Симоново, оставили позади себя болото Соколий мох, обогнули стороной деревню Радовье и вошли в большой лес. Солнце клонилось к маковкам деревьев. Птицы пели во всю ивановскую. По бокам извилистого проселка цвели медуница и ветреница, а на полях — первоцвет. Было тепло и духмяно. Мы шли, охмелены весной. И лета наши, Любе — восемнадцать, мне — девятнадцать, подбавляли в нашу кровь внешнего хмельку...

И оба мы в этот вечер нравились друг другу. И оба понимали, на что пошли, с кем вступили в единоборство и что может нас ждать по возвращении из партизанского леса в захваченную ворогом Плюссу. Да что там — по возвращении! Может быть, вот сейчас, вот за этим поворотом дороги...

Грозовая обитель,
Заколдованный круг.
И наган-утешитель —
Твой единственный друг.

А лес укрывал нас от недоброго глаза и людского пересуда, птицы и цветы славили жизнь, любовь и красоту, закатная заря обещала ведреный день на завтра. Но нам было совестно и боязно грешных чувств. Мы не посмели даже поцеловаться.

На обратном пути от партизан, обсуждая опасное за-

дание начальника разведки подпольного центра, Любовь Смурова сказала как будто не только себе и мне, но всей ночи, всему лесу, всей замершей земле:

— Я жизни не пожалею для России!

Она не пожалеет...

Однако, пока нас не хватились, вернемся в Плюссу. Там у подпольщиков хлопот невпроворот. Три месяца — май, июнь и июль 1943 года — для плюсских разведчиков были жаркими: ведь служили не за страх, а за совесть, и поединки были не на живот, а на смерть.

9 июня меня вызвал комендант местной комендатуры майор Флото. В кабинете у коменданта сидел лейтенант Абт из фельджандармерии.

— Переводчик немецкой комендатуры обязан быть в военной форме, — сказал Абт.

— Разрешите подумать.

— Думайте. Все взвесьте. На раздумье — трое суток, — бросил Флото.

Заполночь я пришел в подпольный центр, благо находился он в это время всего верстах в десяти от Плюссы.

— Почему внеочередной визит? Что случилось, Игорь? — встревожился начальник разведки. Он знал: зря в центр не ходят.

Я рассказал о решении немцев.

— Что надумал делать? — вмешался в разговор командир.

— Ихнюю форму ни за что не натяну на свою шкуру! Хоть убейте!

— Не горячись, — мягко заметил начальник разведки.

— Иван Васильевич, что хотите делайте, не могу. Форму не надену!

— Хватит с него! — утвердил командир. — Утверждаю отказ.

— Спасибо, батько Тимофей Иванович.

Через три дня лейтенант Абт выговаривал мне:

— Не желаете, ваше дело. С завтрашнего дня опять будете вывозить почту. А когда наберем партию на этап, отправитесь в Германию. — И добавил с ухмылкой: — Желаю удачи.

— Данке, экцеленс!¹

Этот разговор происходил в комендатуре утром 11 июня 1943 года. А назавтра, под злорадные смешки земляков, уже второй раз в этом году я вез почту на вокзал, впрягшись в почтовую тележку. Выезжать старался пораньше: мимо вокзала катили немецкие эшелоны на фронт и с фронта. Что ни говори, а мне и на этот раз повезло...

В первых числах августа центр приказал дать сведения о немецкой агентуре. К этому времени нам удалось выявить нескольких немецких агентов — от «цеппелиновцев» до сотрудников СД².

Моей помощницей по разведке была Любовь Смурова, переводчица на бирже труда. На бирже имелась картотека, в которую были занесены все взрослые работоспособные люди Плюсского района.

— Люба, мне нужны карточки кое на кого из картотеки биржи труда. Слушай и запоминай их фамилии.

— Вот карточки, — сказала Люба на другой день.

Я переписал данные карточек и вернул их моей помощнице.

— Немедленно верни в картотеку. А то схватятся и догадаются, что кто-то охотится за немецкими агентами.

¹ Спасибо, ваше превосходительство! (нем.)

² Служба безопасности.

— Поняла. Но возвращу карточки на место завтра. Сегодня вечером я ухожу на связь с центром.

Любовь Смурова ушла вечером 10 августа 1943 года, унесла сведения о немецких агентах, иные разведданные, увела в партизанский отряд подпольного центра восьмерых наших военнопленных.

Назавтра, в семь ноль-ноль, как было условлено, Люба не пришла с рапортом о выполненном задании. Не явилась она и в восемь часов. И я направился к дому Смуровых. Навстречу мне шла Любина соседка и подруга по работе Галина Бывшева.

— Уходи, Игорь! — сказала Галя. — Любу арестовали прямо на работе. Проходя мимо, Люба, губами, сказала одно лишь слово: «Игорь». И вот жду тебя, чтобы предупредить. Уходи! — И девушка удалилась.

Легко сказать: «Уходи!». Но я не мог этого сделать, не узнав, что с Любой. Домой возвращаться было рискованно. Оружие наше хранилось вне хаты, в земле, и, вооружившись, я отправился на Болотную улицу, к моему товарищу Алексею Степанову.

— Плохи дела, Алеша! Арестовали Любу Смурову. Мне мельтешить в поселке нельзя: могут схватить немцы. Погуляй по Плюссе, узнай, что там делается...

В полдень Алексей вернулся.

— Слышал от наших людей: Люба арестована полевой тайной полицией. В лагере военнопленных взят переводчик Игорь Трубятчинский. С полчаса назад в ГФП привели Любину двоюродную сестру Анну Егорову и ее мать, тетку Ирину из деревни Радовье. Другие подпольщики остались на воле...

Ночь с 11 на 12 августа я провел в доме Алексея Степанова. Не спалось. Какой тут сон. И почти всю ночь писал

стихи. Алексей, поднятый с постели взрывами на железной дороге, спросил, зевая:

- Никак стихи сочиняешь?
- Их, Алеша, такое дело.
- Нашел время.
- Когда же и сочинять, если не в такой момент...

Назавтра, в середине дня, когда я покинул убежище и вышел на улицу, ко мне подошел связной в немецкой форме, сказал тихо пароль:

— Зажги выюгу!

— Горит выюга! — чуть не крикнул я от радости. Но это только показалось — крикнул. На самом деле лишь прошептал отзыв. Так велико было напряжение последних суток и такой сильный спад последовал за этим напряжением.

— Вы должны немедленно уходить. Отзывает центр. Брата берите с собой. Домой не заходите: там засада. Дороги перекрыты. Уходите через минное поле. Там нет охраны. Перейдете заминированный участок напротив дома Ломакиных: там — проход. Держитесь. Явка в Машутине у Валентины. Счастливо.

12 августа 1943 года, ровно в 14 часов по вокзальным часам, мы с братом Львом перешли железную дорогу и по Болотной улице поспешили к минному полю. Навстречу нам, как доброе предзнаменование, шла Раиса Воронцова.

— Рая, мы уходим насовсем. Но я приду за тобой. Жди. И прими стихотворение. Много я тебе их написал за шесть лет. Возьми еще одно. Я его сочинил сегодня ночью. Оно — тебе.

Девушка, стоявшая перед нами, была та самая бывшая семиклассница, которую я в 37-м году так неосторожно и так несправедливо обозвал «чернухой». Все эти годы я безнадежно любил ее.

На другой день утром мы добрались до лагеря Стругокрасненского межрайонного подпольного центра в Радовском лесу.

Как стало известно позднее, Любовь Смурову допрашивали в ГФП — полевой тайной полиции — месяц и три дня. Что там было? Бог весть. А я могу сказать лишь то, что после ареста Любы в Плюссе не пострадал ни один человек, тем более подпольщик. И мне Любовь даровала жизнь.

В ночь с 15 на 16 сентября 1943 года, девятнадцати лет отроду, Любовь Алексеевна Смурова и с нею трое подпольщиков были расстреляны в Плюссе, на краю стадиона, у железной дороги, напротив семафора.

К лесу мне с братом не привыкать: и рыбалка с ночевкой, и охота, и походы по грибы-ягоды были для нас привычным и естественным делом. Поэтому лесной партизанский лагерь с первого дня стал нам родным и надежным домом.

Под густой елью, на подстилке из хвойного лапника мы устроились, как на доброй русской печке. Костер на всех был один — в середине лагеря. Его обычно жгли либо ненастными ночами, либо непогодными днями, чтобы не углядели вражьи самолеты. В подпольном центре в то время было не много партизан — человек сорок.

Находился лагерь километрах в трех от деревни Радовье Плюсского района, в старом лесу, на самой кромке огромного болота Соколий мох. Впрочем, летом и осенью 1943 года центр подолгу не задерживался на одном месте: чаще несколько дней тут, неделю там и опять на новое местожительство. Дольше других мест партизан принимал Зареченский лес.

Партизанские старожилы встретили меня и Льва дру-

желобно и сразу приняли как равных. Но мы глядели на них с обожанием: шутка ли — два года, летом и зимой, провести в лесу!

Забегая наперед, скажу: руководитель Стругокраснейского межрайонного подпольного центра и главный командир партизанского отряда Тимофей Иванович Егоров стал мне близким другом на всю жизнь. И я никогда не разлюблю этого замечательного человека. Никогда. Я почитал его как отца. Да и партизаны величали его батькой. А было ему летом 43-го всего тридцать шесть лет.

Тимофей Иванович запомнился мне светлоголовым, широколобым, скуластым и желтолицым. Его мучила язвенная болезнь, а он и не думал покидать поле боя, не собирався бросить свой отряд и отправиться в наш тыл в госпиталь. Со всеми и во всем он был прост, прям и откровенен; с подчиненными вел себя «на равных», мягко и не строго; к провинившимся и повинным относился великодушно и милостиво. И что делало большую честь нашему руководителю — он никогда не проливал людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кровожадными с противником. За эту мудрую человечность люди платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами.

В отряде не сидели сложа руки. Каждую ночь, кроме разведки, засад, диверсий, ходили «на заготовки» — на добычу еды. Иногда мы лакомились провиантом попавшего впросак противника. Но чаще кормились за счет населения, которое уступало нам без особого энтузиазма.

Вскоре после нашего появления в отряде Тимофея Егорова группа партизан, в которую попал и я, отправилась встречать «Дуглас» с Большой земли. Самолет прилетел около двух часов пополудни. На наш сигнал — четыре костра квадратом и костер в середине — было сброше-

но на парашютах около десяти грузовых баулов: оружие, взрывчатка, мины, патроны, одежда, еда. И почта — письма счастливым и газеты. Даже кура и спиртного, хоть и немного, перепало нам из тех баулов.

Приняв самолет, мы довооружились «до зубов» и как следует приоделись. Вечером того же дня группа из семи человек отправилась на «железку». Осуществить диверсию было намечено у самой Плюсы, между железнодорожным мостом и поселком, на 179-м километре. Здесь немцы меньше всего ожидали нападения партизан.

Шли ночью, быстро и скрытно. Следующий день провели в лесу почти у самой железной дороги, наблюдая за охраной полотна и движением поездов, выбирая подход к цели.

Взрыв было намечено произвести с помощью «удочки» — партизанского изобретения. В пакет с толком вставлялся капсюль от гранаты Ф-1 («лимонки»). К чеке капсюля привязывалась веревка из связанных парашютных строп длиной метров 100-150. Такую импровизированную мину устанавливали под рельсы, маскировали и взрывали, дергая за веревку, обычно под паровозом или перед ним. Толу закладывали килограммов 10-15, а иногда и больше.

Стемнело. Настало время разматывать «удочку» и минировать «железку».

— Пойдут братья Григорьевы, — решил командир группы. — Игорь понесет мину и заложит ее, Лев будет разматывать веревку.

Мы были новичками, понимали, что на нас не только смотрят, но нас проверяют «на прочность». С непривычки было не по себе, особенно когда подбирались к дорожному откосу, перед которым для защиты от парти-

зан дыбился завал из поваленных кустов и деревьев, колючей проволоки и всяких побрякушек (пустых консервных банок, бутылок, железок) подвешенных к проволоке и сучьям. Кроме того, и завал, и откос были заминированы минами-сюрпризами. Однако на линию мы заползли благополучно и мину — пуд взрывчатки (сорок шашек) — под рельс угнездили. Я вставил взрыватель, а потом, как мог, а вернее, как умел, закопал и замаскировал смертельный груз. Брат тем временем размотал веревку и насторожил «удочку» со стометровой «лесой». Все пока что обошлось без сучка без задоринки. И мы стали ждать эшелон.

Под утро со станции в нашу сторону направились два патруля. Они шли медленно, освещая карманными фонариками рельсы. У заминированного места немцы остановились, заподозрив неладное. Свеженарытый песок под рельсом и на шпалах выдал нас. Патрули коротко посоветовались, опустили на корточки и стали разгребать грунт. Веревка «удочки» дернулась раз-другой, потом ее потянул к себе немец.

— Ключуло. Чтоб им неладно! — прошептал командир. — Дергай!

Грохнул взрыв. В поселке и на железнодорожном мосту раздались выстрелы. Нам ничего не оставалось, как уносить ноги...

В двадцатых числах августа недалеко от деревни Должицы, когда переходили шоссе на Плюсса-Ляды, наша группа нарвалась на немецких егерей. Бой был неравным и не в нашу пользу. Пришлось утекать. На большой поляне, которую мы перебегали, легло семеро партизан.

До конца поляны, то есть до спасения, оставалось ме-

тров сто. И тут меня хлестнула пуля. Я упал. Неподалеку от меня лежали мои собраты. Немецкий пулемет замолчал. На поляну вышла цепь фашистов со «шмайссерами» в руках. По простоте своей я решил прикинуться убитым и отлежаться. Но не тут-то было! Немцы шли развернутой цепью и стреляли в лежащих партизан. Нет, лежать было негоже! Я поднялся на локтях, поднатужился и прыгнул. Потом сделал второй прыжок, третий... То на руках, то катаясь к спасительному лесу, подобно деревянному кругляшу, вскакивая на здоровую ногу, падая, подымаясь, скрипя зубами от боли и моля Бога о спасении, я пробивался к чащобе, чтобы укрыться там, как стреляный дикий зверь. Цепь карателей, не ускоряя шага, шла вперед, пристреливая убитых, а может, и раненых. Меня осыпало автоматными пулями. Потом я вынул несколько из фуфайки, из карманов, из-за пазухи. Три пули торчали в спине. Но счастье было на моей стороне: немцы шли в полный рост, мешая пулемету стрелять. Автоматчики были все-таки довольно далеко, и пули «шмайссеров» настигали меня на излете, поэтому, полумертвый и полусведенный с ума, добрался я до леса. Немцы дошли до кромки, постреляли по кустам, кинули несколько гранат и вернулись на опушку, под защиту своего пулемета.

Дело было вечером, часов около десяти, наверно. Я перевязал сквозную рану нижней рубахой. Седалищный нерв, как потом выяснилось, был поврежден. Не стану записывать, растерялся я вначале: часов на руке не было, ни компаса, ни полевой сумки, вещмешка тоже не было. А там — патроны для автомата и пистолета, ну и еда какая-никакая, и перевязочный пакет. Темнело в лесу. А может быть, это темнело у меня в глазах. Вскоре я впал в забытие. Очнулся на рассвете от озноба. И пить хотелось огненно.

Рана нагноилась, и нога распухла. Но все равно надо было двигаться. И я пополз к людям. Без них мне было никак нельзя.

Через день меня подобрала на сельском кладбище крестьянка деревни Посолодино Плюсского района Ольга Артемьевна Михайлова. Добрая душа на ручной тележке, ночью привезла меня к себе в глинобитную хату на берегу речки Черной, привела в чувство и выходила.

Спустя месяц на своих двоих мне удалось найти наш отряд. Радостно было вдвойне: и ранения нет как нет, и свои тут как тут.

Однажды утром радист сообщил нам:

— Ночью в Зареченском лесу приземлился «кукурузник». Поздно вечером самолет улетит на Большую землю. Пишите письма в наш тыл.

Брат Лека в этот день был на задании. А я, расположившись на толстом еловом пне, написал короткое письмецо маме, которую война застала в городе Ораниенбауме (Ломоносове, шутовское название — Рамбов). Потом я, чуть ли не весь день, сочинял стихи о нашей тогдашней жизни, чтобы приложить к письму. Вот что у меня получилось:

Письмо

Мы в надежном месте, мама,
Все спокойно. Тишина.
Вкруг — природа: дача прямо.
И как будто не война.

Я и жив, и в полной силе:
Вишь, как бодро речь веду.
Коль в плену не уложили —
На свободе ль пропаду.

Лека наш ершишек удит —
Есть надежда на улов.
Да к тому же скоро будет
Вдоволь ягод и грибов.

Так что, так что до удачи
Недалече, милый друг...
Я пока сижу на даче,
Лажу «удочки на шук».

Тут была одна загвоздка:
По березнику кружа,
В трех верстах от перекрестка,
Наступил я на ежа.

Еж военный — зверь колючий:
Взял и ногу занозил.
Не таюсь, случился случай:
Лес не милует мазил.

Но меня не удручает
Тот конфуз и переплет.
Поговорка выручает:
Все до свадьбы заживет.

Ты-то как в своем Рамбове?
Ждешь сыночка у крыльца?..
Ах, в Рамбове не в Тамбове —
Ад блокадного кольца.

Фронт в пяти верстах, не где-то —
В Петергофе. На носу...
Да, нечаянную лето
Нам натучило грозу.

Потрепи! Не будет грома,
Поразведрит облака.
Худо-бедно, мы ведь дома.
Ад земной не на века.

А пока, хоть понемногу,
Хоронись от бомб и мин...
Я за нас молюся Богу.
Твой уверовавший сын.

Игорь Григорьев.

21 сентября 1943, немецкий тыл.

Эти стихи стали первой главой поэмы «Двести первая верста».

Я сложил письмо солдатским треугольником и простым карандашом написал памятный мне по мирным дням матушкин адрес:

*город Ораниенбаум,
улица Красного Флота,
дом 3, квартира 24,
Мариин Васильевне Лавриковой.*

И хотя мама еще в августе 1941 года была эвакуирована в Костромскую область, весточка моя нашла адресата. Да, по совести работала тогдашняя почта, с нынешней не сравнишь: из Санкт-Петербурга из трех писем доходит одно. И идет оно до Пскова две-три недели.

Отправив самолет с нашими письмами на Большую землю, уморившись многоверстной ходьбой по азимуту, мы устроили трехчасовой привал. Я спал на еловых лапах под плащ-палаткой. И приснился мне сон. И был этот сон до того четок, резок и нещаден, до того осязаем, что я не могу понять: пригрезилось ли это мне? Или еще что?

Посреди пустой песчаной дороги в белой домотканой рубаше стоит босой брат, у его ног — таз. В лице ни кровинки, оно серое и совершенно безучастное. В правой руке Лев держит большой партизанский нож. Левый рукав его балахона засучен выше локтя, и рука на сгибе перерезана

до кости. Лека держит руку над тазом, в который течет кровь. Таз уже полнехонек, и кровь через края сливается в песок.

Я кричу, я молю, я заклинаю брата опомниться, но он как-то загадочно и грустно усмехается и медленно растворяется в пространстве...

Я вскочил на ноги, то ли от кошмарного сна, то ли от команды «Подъем!». Надо было продолжать солдатский путь.

Днем меня и брата вызвали в штаб центра.

— Как нога? Затянуло рану? — спросил начальник разведки майор Иван Хвоин.

— Приседаю малость, Иван Васильевич, а так — топаю.

— Топаешь? Это и надо! Дело есть. Переодевайтесь в немецкую форму и дуйте в Плюссу. За шефом районной полиции! Он нам нужен. Обязательно живой. В двадцать два часа двадцать пятого сентября господин начальник в полицей-управе будет ждать двух немцев — капитана и унтер-офицера. Они должны отправиться к месту казни за поселок, на карательную акцию. Немцы пунктуальны, а шеф-полицай услужлив. Наверняка явится раньше назначенного времени. Впрочем, и мы позаботимся, чтобы явился раньше. В двадцать один час тридцать минут вы с ним выйдете за Плюссу. И там захватите его. Пароль у немцев на двадцать пятое — «Фатерланд».

25 сентября в 22 часа я, мнимый немецкий хауптманн, и Лев, мнимый немецкий унтер-офицер, вместе с шефом районной полиции были уже за поселком и шагали к Зареченскому лесу.

Тихой туманной ранью 26 сентября мы подошли к деревне Насурино Стругокрасненского района. Лев шел

впереди, проверяя дорогу, я с «языком» — шагов за двести от брата. Вдруг впереди раздалась стрельба.

— Засада! — закричал Лека. — Уводи «языка», а я задержу немцев!

Стрельба разгоралась. Полицейский шеф с криком «Я свой!» бросился бежать навстречу немцам. Пришлось сбить его с ног и принудить ползти в лес, подальше от засады. На дороге, где залег Лев, рвались гранаты, частили «шмайссеры». В ответ короткими очередями огрызнулся автомат Льва.

В семь утра шеф Плюсской районной полиции был передан начальнику разведки майору Хвоину.

Два часа спустя я привел на место засады группу партизан во главе с Тимофеем Егоровым. Все было кончено. Лев лежал в траве, изрешеченный пулями и осколками. Местные жители, которые везли немцев на подводах в Струги Красные, рассказали, что староста деревни Насурино заметил партизан, идущих на задание. Ночью он привел на это место немцев, и те устроили засаду на нашем пути.

Лека был храбрым и сильным человеком. Таких война не милует в первую очередь.

Товарищи по оружию, партизаны подпольного центра, похоронили Льва Николаевича Григорьева на месте его гибели, на лесной поляне возле деревни Насурино, в тот же день. Тимофей Егоров приказал мне:

— Предателя уничтожить! Дом сжечь!

Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мясные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бутылка самогонки. Староста был «под мухой».

— Веришь в Бога? — спросил я, почти хрипя. — Становись на колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в потолок длинную — на полдиска — автоматную очередь, я бросился на улицу. Пятистенок пылал.

— Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я прикончить не смог. Солдат я, не палач...

Млад я был и глуп в те годы, поэтому нередко попадал в истории комичные, зряшные, а то и опасные: то, возжаждав полакомиться медом, я драпал от разъяренных насекомых на смех всей деревне; то взрывал мост в деревенской глуши, уничтожать который было вовсе необязательно; то, в форме немецкого хауптманна заявившись во вражеский гарнизон, от обиды и бессильного гнева приставал к германскому нижнему чину, заставляя его козырять мне, гоня строевым шагом, распекая захватчика самыми обидными немецкими ругательствами. Но это мальчишество.

А дело приходилось делать. Ратное дело. Грозное дело. Страшное дело.

Между тем наступило время моей разлуки с подпольным центром Тимофея Егорова, который стал мне домом и семьей.

Утром 16 ноября меня затребовали в штаб центра. В штабе, крестьянской избе, было тепло, пахло свежеспеченным хлебом, антоновскими яблоками и мясной похлебкой. Начальство центра — Тимофей Егоров, Василий Красотин и Иван Хвоин — из большой глиняной миски ели суп.

— Разведчик Игорь Григорьев по вашему приказанию явился!

— Снимай амуницию и фуфайку, садись за стол. Валентина, дай парню лопоту хлеба. А ложка у партизана всегда при себе, — сказал начальник разведки.

— Это точно: без ложки нынче, как без автомата, Иван Васильевич. Не смею отказаться от приглашения.

Командиры потеснились, и я подсел к миске с варевом. Когда завтрак окончился, помощник командира Василий Кузьмич Красотин сказал мне:

— Надо поговорить о деле. Приказано перевести тебя в бригадную разведку Шестой партизанской бригады. Назревают события. Там сейчас силы нужны. Речь идет о скором прорыве блокады.

Тимофей Иванович Егоров подошел ко мне, сказал с ласковой грустью:

— Сам понимаешь, не отдал бы я тебя, будь моя воля. Но приказ есть приказ. Не тужи. Вот тебе мой подарок на дорогу: носки и вареники. Носи на здоровье!..

Ночью 16 ноября 1943 года я ушел в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение Шестой партизанской бригады. И назавтра стал бригадным разведчиком.

В бригадной разведке было 38 человек, лихих и отчаянных вояк, сорвиголов. Из них — не меньше десятка бывших плюских подпольщиков: в бригадную разведку брали не абы кого — опытнейших, самолучших. Я прижился здесь скоро, хотя и крепко скучал по моему Струго-Красненскому подпольному центру и по его руководителю Тимофею Егорову.

В конце ноября, во время диверсии на «железке», я был тяжело контужен. Придя в себя и оклемавшись, взялся за шлифовку моей пьесы «Черный день» — драмы об оккупации, которая была написана с полгода назад. Бригадное начальство и лично комбриг Виктор Обьедков, поощряя

мою писанину, освободили меня от службы и войны на целых две недели.

Дело спорилось. Пьеса была переписана набело. Мы решили поставить ее. Комбриг затею одобрил. В самодеятельных артистах недостатка не было. Нашлись и режиссеры, и художники, и музыканты, и гримеры. Да еще какие!

Ставили «Черный день» в канун Нового, 1944 года в коридоре школы-восьмилетки в деревне Клескуши Лужского района. Зрителей — партизан и местного народа — было битком.

Спектакль закончился полным успехом перед полночью. Мы отправились домой счастливые и взбудораженные. Шел двенадцатый, последний час старого, кровавого и горемаятного 1943 года. Было снежно, холодно, и радость быстро сменилась тревогой. Кругом, куда ни глянь, пылали, отсвечивали, трепетали и извивались зарева пожаров. Везде — вверх, вниз, справа, слева — зарева. Зарева, зарева... Я насчитал их шестьдесят три...

Небо не только горело, но и гудело: множество самолетов — чужих и наших — кромсали темноту, нагоняя на душу тоску.

Немцы уматывали на запад, превращая Россию в сплошное пожарище.

Всякое бывало на войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. Все человеческое и светлое помнится донине. И согревает душу, и роднит человека с давно ушедшим от нас. Может, поэтому и не забыть мне такой благословенный случай.

После второго налета на Плюссу 2 февраля 1944 года в деревне Манкошев Луг я повстречался с моим отцом, ко-

торый скрывался от карателей в соседнем лесу. Пять месяцев лесной жизни, без хлеба, без махорки (а батя всегда много курил), без одежды — без всего. Целую осень и половину зимы в земляном бункере. Еда — вареные березовые почки, курево — сушеные ольховые листья...

12 августа 1943 года, когда мы с братом бежали в партизаны, отца арестовали фрицы. И привели в тайную полицию — ГФП. Расспрашивали про нас: что мы делали, с кем общались, куда ушли. Велели найти нас и доложить о нашем местонахождении. Взяли подписку о молчании. И выпустили на волю.

Отец все понял, домой не пошел, а направился в лес, где заболел и застрял в заброшенном бункере чуть не на полгода.

После этого нашу избенку в Плюссе сожгли немцы, а мачеху Марию Прокофьевну и сестренку — Тамару и Нину — угнали в Германию...

Свидание с отцом было коротким. Мы дошли до росстаней за деревней Тушитово. Отсюда начиналась дорога на Лышницы — прямая, как стрела, на все семь километров. Мне надо было догонять ушедшую в Лужский район партизанскую бригаду. Мы обнялись на прощанье и троекратно поцеловались по русскому обычаю. Отец осенил меня крестным знамением. Я подарил ему мои трофеи: пистолет, часы и пачку денег, поклонился в ноги и попросил:

— Скажи мне, батя, что-нибудь на дорогу!

И Николай Григорьевич Григорьев, старый закаленный воин, захлебываясь слезами, стал говорить:

— Ты теперь один у меня, Игорь. Береги себя. Не лезь на рожон, горяч больно, знаю я тебя. Но и воевать за тебя другой не должен, умирать то есть. Неси свой крест. Пом-

ни это, сынок. Я молюсь о тебе. Верю, что не погибнешь. Да сохранит тебя Господь Бог! — сказал и снова перекрестил меня трижды.

— Салют в твою честь, батя! — Я выстрелил несколько раз в воздух. — До встречи, дорогой! Сам береги себя!

И тронул коня. И пока видели глаза мои, отец, офицер русской армии, стоял неподвижно, опершись подбородком о посох, уставившись в невидь, в которую удалялся его сын — разведчик Отечественной войны.

А война бушевала. Вороги отступали. И мы без передышки воевали.

11 февраля 1944 года, поутру, германцы захватили возвышенность перед деревней Островно, что в Лужском районе. Множество немцев наперло. А партизан и солдат (мы к тому времени соединились с действующей армией) было негусто. Поэтому в контратаку бросили бригадную разведку.

Под озерной кручей, слева от деревни, выстроились бригадные разведчики — тридцать восемь ратоборцев. Перед нашим строем появился комбриг. Речь его была короткой и ядреной:

- Знаете, зачем пришел?
- Знаем, Вик Пал!
- Молодцы! Сам поведу!..

В тот день, 1 февраля, мне выпало на долю четвертое, последнее ранение на войне.

Как я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпитале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться — а именно это мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и больниц и восемь операций.

И — видит Бог — со дня Победы до сегодняшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: «Вот они —

двадцать семь миллионов (а в действительности намного больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев Григорьев, — полегли за Родину, а ты остался в живых!». Но ведь очень даже мог и не остаться. Судьба!

В госпитале на тот раз мне крепко пофартило: я попал под опеку Александры Агафоновой, медицинской сестры милостию Божией, пра-пра...внучке «полудержавного властелина» Александра Даниловича Меншикова.

Ростом, статью и обликом светлейшая Александра Анатольевна как две капли воды была похожа на своего славного пращура. Тот же крупный нос с породистой горбинкой, тот же все понимающий открытый взгляд, то же грустное вдохновенное чело.

Беззаветная сестра милосердия выносила раненых с поля боя еще в Первую мировую войну. Не изменила она себе и в Великую Отечественную: многих спасла и уберегла от смерти. Выходила и меня, вынянчила, выпестовала. И поставила на ноги.

А потом в течение пяти лет с материнским терпением, кротостью и упорством врачевала мой встревоженный бунтарский дух, унаследованный от мачехи-партизанщины, укрепляла во мне человеческое достоинство, веру и сострадание ближнему. И кое-чего ведь добилась .

И кто знает, что бы стряслось со мной, если бы не она?..

До страшной Октябрьской революции Александра Агафопова зналась со многими замечательными людьми России и Санкт-Петербурга — писателями, живописцами, актерами, духовенством, медиками, военными. Она любовно рассказывала мне о поэтах Константине Романове, Игоре Северяnine, Сергее Есенине, о художниках Илье

Репине и Василии Максимове, о певце Федоре Шаляпине, о медике Иване Павлове, о генерале Алексее Брусилове, о святом Серафиме Саровском...

Благодаря Александре Анатольевне мне посчастливилось познакомиться с писателями Евгением Федоровым и Михаилом Зощенко, медиком Елизаветой Хлебниковой, актерами театра имени Горького, музыкантами консерватории.

Когда, в середине 1944 года, я появился в доме сестры милосердия, мой художественный вкус оставлял желать лучшего. Со стыдом и благодарностью вспоминаю мой первый урок по музыке.

— Что исполнить? — спросила меня дочь Александры Анатольевны Марина, студентка консерватории, садясь за рояль.

— Сыграйте и спойте «Раскинулось море широко».

— Почему именно эту песню?

— Ее поет Утесов, а этого певца я люблю за душевный голос и за народность. Возьмите хотя бы его джаз...

— Вот оно что, — растерянно пробормотала девушка. В разговор вмешалась ее матушка:

— А по-моему, музыка Михаила Глинки народней джаза Утесова. И душевней. Исполни, Мариша, арию Антонида из оперы «Жизнь за царя».

И Марина стала петь, аккомпанируя сама себе. Потом он спела романс на слова Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Потом пела еще и еще.

Я был потрясен.

С этого дня и мать и дочь взялись за мое эстетическое воспитание самым серьезным образом. Марина, добывая средства к существованию, по вечерам играла в оркестре театра М. Горького. Благодаря ей, двери Большого драма-

тического театра для меня открылись. Водила меня Марина и в Филармонию, а Александра Анатольевна — в Большой театр оперы и балета.

Словом, я начинал постигать разницу между «народностью» советской эстрады и настоящей народностью русской классики и моего народа.

Стихи мои в доме Александры Анатольевны принимались с воодушевлением и сердечностью. И дочь, и мать, и их гости видели во мне искру Божию, приветствовали мою лирику и распространяли ее среди своих высоких друзей. Они вселяли веру в мои творческие силы.

Но и спуску мне не давали, если я писал не то и не так — плохо и серо. Услышав от меня стихи слабые или злые, Александра Анатольевна грустно утверждала:

— Конь вышел из борозды.

Она смахивала нечаянную слезу, гладила мою голову, вздыхала и, как бы думая вслух, тихо говорила:

— Боязно за тебя, сорвиголовушка! — и, помолчав, добавляла: — Спаси тебя Христос!

В августе 1944-го меня демобилизовали «по чистой». С того года я и обосновался в «Петра творенье» — тогдашнем Ленинграде. Штаб партизанского движения «выкроил» мне жилье — девятиметровую комнатуху на улице Егорова. А Ленинский райсобес пожаловал пенсию — 129 рубликов.

Буханка хлеба с рук — тридцатка, пять целковых за пару папирос «Беломорканал» и так далее...

А жить хотелось! И, не задерживаясь в Северной Пальмире, я отчалил в костромское село Большое Николаевское, которое находилось в шестидесяти километрах от станции Шарья и в пятнадцати — от районного центра Пыщуг.

В Николаевском временно обосновалась моя матушка, эвакуированная туда в начале войны из Ораниенбаума.

Так начиналась моя мирная жизнь.

На гражданке промышлял охотой в костромских глухоманях, фотографией на Вологодчине, бродил с геологической экспедицией по Прибайкалью, вкалывал грузчиком и строителем во «граде белых ночей».

Осенью 1949 года — с третьего захода — поступил на русское отделение филологического факультета тогда Ленинградского университета, которое окончил в 1954-м.

Университету я обязан встречей с большими русскими людьми, сыгравшими немаловажную роль в моей судьбе, — с преподавателем родного языка Антониной Вильгельминой, писателем (в те годы завкафедрой советской литературы) Федором Абрамовым, с языковедом академиком Иваном Мещаниновым. О них я не волен умолчать.

Антонина Александровна Вильгельминина.

1 августа 1949 года в университетской аудитории на вступительном сочинении я «поплакался» наблюдавшей за «сочинителями» моложавой, но седовласой женщине с живым ласковым взглядом:

— Третий год типу сочинение. Неужели опять наделаю грамматических ошибок и провалюсь? Хорош писатель!

— Да? — только и спросила Антонина Александровна. Это была она.

В первый день благословенной осени я уже слушал ее удивительную лекцию по русскому языку. И с этого же дня стал своим человеком в ее опрятной бедной коммуналке — узкой десятиметровой комнате. Все пять студенческих лет она учила меня, остерегая от житейских соблазнов, пестовала и кормила. Впрочем, у нее находили при-

ют, заступу и кусок хлеба многие студенты и аспиранты. Диву даюсь: как это мы не объели и разорили ее вконец?

Антонина Вильгельминина была невесткой знаменитого русского художника-передвижника Василия Максимова, получила в наследство больше сотни его бесценных полотен. И все это безвозмездно передала Русскому музею. Себе оставила лишь несколько небольших эскизов.

— Да вы толику денег с музея взяли бы, себе на пальто хотя бы, — упрекал я Антонину Александровну.

— Не могу, нельзя брать за то, что принадлежит России и только ей, — отвечала она.

А что же Русский музей? С милой небрежностью упрятал полотна в запасник. «Больно много в них, в этих картинах, посконной Руси и русского духа». Вот ведь как бывает.

Десять лет тому назад, за неделю до своей кончины, Антонина Александровна прислала мне свой преподавательский билет и последний привет: «Сынок! Мне под девяносто. Я на пороге. Передо мною — открытая дверь туда. Мне остается лишь благословить тебя. Знаю, что “с дороги не свернешь и не проклянешь затученное солнце”» (это были две строчки из моего стихотворения «Письмо любимой»). Я плакал над этим прощанием и прощением от благодарности и жалости.

Когда мне горестно, когда на душу найдет разлад и сам себе готов стать чужим, выплывает вдруг из житейского тумана светозарный облик невысокой тонкой женщины с моложавым лицом, притягивающим и все понимающим синим взглядом, с белоснежной челкой на прекрасном, будто мраморном, лбу. И потеплеет на душе, и устыдишься себя, и покаешься, «в чем был и не был виноват»:

— Простите меня, дорогая Антонина Алексеевна!

Федор Александрович Абрамов.

Я любил этого человека. Говорят, что и он любил меня. Но я не знаю, любил ли он когда-нибудь кого-нибудь. Разумеется, кроме своего творчества.

Писателя Федора Абрамова теперь знает и глубоко чтит не только Россия. О его творчестве и жизни написано немало. Поэтому буду краток — расскажу лишь то, что знаю один я.

Познакомились мы в 1953 году. В то время Федор Александрович был руководителем моего университетского диплома.

На очередной консультации, прочитав черновик моей работы, он заявил без тени сочувствия — спокойно и сухо:

— Худо дело, батенька. Литературоведа из тебя не получится. И что тебе делать, не знаю.

— А я и не собираюсь отнимать у вас литературоведческий хлеб с маслом. Мусолить чужие книги, распиная или вознося их, — не мой удел. Пусть уж лучше распинаят или возносят мои книжки.

— А знаешь, ты, кажется, прав.

— Да уж как не знать...

Через пару часов мы сидели с Федором Александровичем в его большой комнате во дворе университета, и он читал мне начальные главы своего первого романа.

И хотя я был никудышным литературоведом, я понял, что значит роман Федора Абрамова «Братья и сестры». Это было так глубоко, цветисто, ошеломляюще ново и честно, что никаким «социалистическим реализмом» не пахло. И я с первых черновых глав уверовал, что в России нарождается новый великий писатель.

Уже за одно то, что он был первым, кто мужественно и могуче противопоставил себя бабаевским, ажаевым и

иже с ними, — честь и хвала ему! Но он был, по мощи голоса, первым и в решении темы деревни и селянина, то есть родины. Его глубь проникновения в психологию русского человека, его слегка затяженный покающийся юмор, его живой искристый русский язык, его нещадная правдивость, вся система ярчайших образов и картин природы — все незабываемо и значительно.

Уже после двух-трех книг, выпущенных зарубежьем, Федора Абрамов оценили по заслугам.

«Вы — лучший современный писатель земли», — писало ему крупнейшее издательство Англии.

«Вы — самый значительный прозаик наших дней», — сообщало ему американское издательство.

Много, очень много таких хвалений.

А в стране «зрелого социализма» «Известия» в это время громыхали статьей жителей деревни Верколы Пинежского района Архангельской области: «Куда ты зовешь нас, земляк?». А в статье той — злобная отповедь творчеству Федора Абрамова. И подписи: «доярка А., свинарка Б., хлебороб Х., кузнец У., овощевод И.».

За долготейшее наше знакомство Федор Абрамов прочитал мне, возможно, одному из первых, немало своих произведений. Вспоминаются «Поездка в прошлое», «Жила-была семужка» (тогда еще в первой редакции, с очень резкой натуралистической концовкой), «Вокруг да около», пьеса из жизни ученых (по-моему, слабая пьеса), «Безотцовщина», «Пролетали лебеди», «Медвежья охота»...

О рассказе «Однажды осенью» (одном из первых, если не самом первом рассказе Федора Абрамова) поведаю подробнее.

Как-то, в конце октября 1961 года, отправились мы с Фе-

дород Александровичем гонять зайцев. На хуторах Гречухина, разбросанных по берегу Кима-ярви — Комсомольского озера, жила-была моя добрая кума Полина Захаровна Саввина, переселенка из Рязани. На просторном пригорке, недалеко от ее жилища, стоял еще один дом. В нем поселилась молодая вдова Шура, мать пятилетнего мальчугана.

До Гречухина от станции Громово было километров восемнадцать, и мы с большими рюкзаками, ружьями, смычком гончих — Идолом и Арфой — по расквашенной и разгромленной нашей сельхозтехникой грунтовой дороге, почитай, вдвоем на двух ногах (и у Федора Абрамова нога, и у меня ноги были стреляны в войну) добрались до пристанища лишь к вечеру.

Дом кумушки был на замке: она еще не вернулась из колхозного телятника. На крыльце перед запертой дверью, сиротливо съежившись и по-птичьи нахохлившись, сидел посиневший от холода малыш.

— Ты — кто? — спросил Федор Александрович ребятенка.

— Шурин сын.

— А почему ты не греешься у себя на печке, а зябнешь на этом крыльце?

— Так в избе один боюсь.

— А где твоя мама?

— Где-где... Загулявши она на стороне. Вот и жду тетю Полю али ее Зину, — сказал, и захлопал носом, и заплакал тихо, покорно и отрешенно.

Я знал, где хозяйка прячет ключ. И мы — все трое — вошли в большую, жарко натопленную кухню (у финнов кухни были не нашим чета). Вскоре и Полина Захаровна с дочкой Зиной вернулись домой. А за ними и Шура в одночасье пожаловала.

— Завернула за сыном вот, — скороговоркой пропела она.

Накрыли стол. Мы привезли из города пару бутылок «старки». Я переглянулся с кумой, и та поставила еще один стакан, пододвинула к столу лишнюю табуретку.

— Садись, Шура, гостей будешь. Мой кум красивых любит, транжирить на красоту не скупится, угостит — я те дам. Да и Федор Александрович чаркой не обнесет.

— Ну, раз такое дело...

Часом позже к Зинаиде пожаловали ухажеры — тройка парней-механизаторов. Заиграла гармонь. Словом, скучать было некому и некогда.

Уже за полночь, укладываясь в постель, я предложил:

— Давай напишем по рассказу обо всем этом. Любопытно, что у нас получится?

— Идет!

Через неделю Федор Абрамов читал мне свой замечательный рассказ «Однажды осенью». И я был глубоко взволнован зоркостью и проницательностью автора, его умением отобрать самое-самое в ворохе фактов и деталей, его способностью возвысить обыденную прозу жизни до сверкающей поэтической высоты... Слава Богу, что я тогда был занят стихами и не набил себе шишек на прозе!

Читал Федор Александрович только написанное им от руки — до машинописи. Страницы рукописи были исполнены твердым, четким, несколько разгонистым почерком. Правок в рукописях почти не встречалось. Голос писателя во время чтения звучал негромко, но четко и выразительно, я бы сказал, артистично.

Когда я делал какие-либо замечания по тексту, автор как бы пропускал их мимо ушей. Но при доработке рукописи нередко учитывал эти замечания.

Немало поездили и ходили мы с Федором Абрамо-

вым по земле нашей. Возил я его и на мой Гришин хутор, и в Белоруссию, и на Карельский перешеек к моей куме.

Как-то в мае заявили мы порыбачить на озеро Мустанлахти-ярви (Щучье озеро), которое лежало в полутора верстах от мызы Полины Саввиной. Мы поймали на спиннинг штук двадцать довольно увесистых щук, которые после нереста хватили блесну очень даже усердно. При поклевке я бросал слово: «Сачок!». И надо было видеть, как проворно и ловко орудовал им Федор Александрович: ни одной не упустил.

Ночь мы коротали у костра. Почти три часа подряд в ту ночевку мой напарник пел частушки, одну забористее другой, не повторившись ни разу. Ей же ей, он пропел их не меньше сотни. Такое я слышал впервые.

Вокруг и около Федора Абрамова вращалось и мельтешило немало литературного и еще больше околотитурного люда, который курил ему фимиам. Но в его доме, где бывал довольно часто, я не встречал никого, кроме тещи Федора Александровича да его брата Василия Александровича, очень милого и тихого сельского учителя.

Федор Александрович Абрамов был невысок ростом, ладно сложен, в движениях нетороплив, косолапил раненой ногой. В разговорах — всегда немногословен, часто насмешлив, говорил без жестикуляции, негромко, веско и убедительно, так что с ним трудно было не согласиться.

Глаза у него были карие, печальные, задумчивые, слегка раскосого разреза. На высоком и очень широком лбу писателя таились горестные складки. Рот был большой, тонкогубый и тоже грустный. На смуглом лице нечастые, но глубокие оспины...

Иван Иванович Мещанинов.

БСЭ сообщает:

«Мещанинов Иван Иванович (р. 1883) — советский язы-

ковед и археолог, академик (с 1932), Герой Социалистического Труда. Был академиком-секретарем Отделения литературы и языка Академии наук СССР (с 1934 по 1950). Исследованию урартского (халдейского) языка и письменности с позиций Н. Я. Марра посвящены первые языковедческие работы Мещанинова. С конца 20-х гг. он стал пропагандистом вульгаризаторской немарксистской лингвистической теории Марра. С середины 30-х гг., отходя от некоторых частных взглядов и методологических приемов Марра, продолжал вместе с тем развивать основные положения т. н. «нового учения» о языке и прежде всего немарксистскую «теорию стадильности» («Общее языкознание. К проблеме стадильности в развитии слова и предложения», 1940). убедившись в бесплодности своих попыток найти какое-либо морфологическое или синтаксическое обоснование стадиям развития языка, Мещанинов перенес проблему стадильности в область категорий мышления, которые он произвольно включил в язык и назвал «понятийными категориями» («Члены предложения и части речи», 1945, «Глагол», 1948).

В опубликованном в 1950 труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» вскрыта полная несостоятельность и немарксистская сущность созданного Марксом и развивавшегося Мещаниновым «нового учения о языке» и положено начало подлинному внедрению марксизма в языкознание. После 1950 Мещанинов, признав свои ошибки и преодолевая их, отошел от вопросов общего языкознания и вернулся к исследованию урартского (халдейского) языка с позиций советского языкознания» (Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1954. Т. 27. С. 401).

Меня обескряливали и вминали в землю некомпетентность, абсурдность и вредоносность идеологических «на-

правляющих». Горький тому пример — творческая судьба почтенного лингвиста академика Ивана Ивановича Мещанинова.

После нелепого скрещивания языкознания с марксизмом, что выразилось в плоде «Марксизм и вопросы языкознания», Ивана Мещанинова вызвал в Кремль «корифей всех наук».

— Товарищ Мещанинов, вы читали работу товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания?»!

— Да, товарищ Сталин.

— Вы, товарищ Мещанинов, конечно, поняли всю пагубность вашей антимарксистской теории языка. И вы, естественно, готовы изменить свои взгляды. Когда вы заявите об этом публично?

— Я, товарищ Сталин, четверть века был сторонником своей теории. И переделаться сразу не смогу.

— Все ясно!..

На Ученом совете филфака, где его громили все, кому не лень, принуждая к покаянию, Иван Мещанинов только и сказал:

— Господи, как много в наш век Добчинских и Бобчинских!

И вот у студентов экзаменационная сессия. В нашей «пятой русской» группе — последний экзамен: «Марксизм и вопросы языкознания». В моей зачетке — пять пятерок. Нужна последняя, чтобы получить 25 % надбавки к стипендии. К экзамену поэтому готовлюсь не в шутку, а всерьез.

Нас экзаменует сам академик Мещанинов. Я взял билет и света Божьего не взвидел: первый и второй вопросы как вопросы, а третий, как наваждение: «Критика товарищем Сталиным теории Мещанинова».

Само собой как-то вышло — на два вопроса ответил, а на третий отвечать не стал. Сказал:

— Иван Иванович, я не знаю ответа на третий вопрос, — и сунул злосчастный билет в кучу уже отэкзаменованных бумажек.

— Как же так? Хорошо отвечали на два первых вопроса. Да и пятерки в матрикуле за этот семестр по всем предметам. Как же так?

— Я не знаю ответа на третий вопрос, профессор. (И действительно, что я мог сказать о той бредовой «критике».)

— Пять да пять да ноль — десять. Делим на три и получаем... Короче говоря, «посредственно» — три балла. Очень сожалею.

Троечникам тогда не платили, и я на целых полгода остался без стипендии. Но воистину нет худа без добра. В начале месяца я извлек из почтового ящика конверт без обратного адреса, опущенный, по штемпелю, на Главпочтамте. Мой адрес был написан от руки печатными буквами. В конверте лежал двойной тетрадный лист в клетку, а в нем — десять сторублевых купюр. И так было в начале каждого месяца в течение целого семестра. Ни меньше, ни больше.

Уверен, что посылал эти деньги не кто другой, но академик Иван Иванович Мещанинов.

А вообще-то пять моих университетских лет — это пять ненаписанных книжек стихов. И я не совсем уверен, стоило ли так упрямо стремиться в его стены. Яркие личности, осветившие и обогревшие мою душу в пору студенчества, остались бы светоносными для других счастливых. Но что бы я делал без них, ума не приложу.

Женился я в тридцать и не прогадал: не опоздал и не поторопился. Ленинград никогда не был мне домом. И теперь, на целых десять лет, я обрел пристанище в белорусском городе Городке под Витебском. В собственном доме «бати Васи» — моего тестя Василия Захарова — мне жилось, как у Христа за пазухой. Это были самые счастливые и удачливые годы мои.

Сам Городок, речка Горожанка, бегущая у нашего дома под крутым склоном, добрый десяток окрестных озер, Воробьевы горы — стали мне своими сразу. Так же как, волею судьбы, стал батей Василий Ильич.

Не заметить этого внешне неброского белоруса было трудно. Жило в нем нечто такое, что привлекало внимание, располагало к себе, пожалуй, даже притягивало человека, заинтересовывало, обнадеживало. Не берусь утверждать, но, возможно, секрет притягательности заключался в его положительном и мощном биополе. Впрочем, встречались в Городке граждане, которые питали к «кулаку» злобу. Наверное, порождали это античувство глупость и зависть.

Невысокого роста, коренастый и плотный, Василий Захаров имел темные волосы и светлую голову. Глаза у него были голубые, большие и пронизательные; нос несколько подкачал — курносоватый и недостаточно внушительный для его серьезного лица. Зато лоб — чистый, слегка выпуклый и высокий, лоб думающего человека — стоил многого. Да и все черты его лица — губы, подбородок, щеки — делали облик своеобразным, очень славянским и славным.

А как хорошо пел батя! Чаше всего это происходило где-нибудь в Мошниках, в лесах бывшего партизанского края, на озере Гвоздок, или Березица, или еще каком, у ночного рыбачьего костра.

Мы принимали по чарке под уху, и песняр заводил берущим за живое лирическим тенором мою любимую «Песню бобыля»:

Ни кола, ни двора,
Зипун — весь пожиток...
Эх, живи — не тужи,
Умрешь — не убыток!..

Над костром мелькал козодой и мельтешили летучие мыши, в прибрежных кустах гукала выпь, в озере всплескивали рыбы; сама ночь потаенно вздыхала, может — во сне, а может — в бессоннице. А еще были звезды, тени, всхлипы росы, трепет листвы и тяжелые шаги какого-то крупного зверя на тропе.

Все звуки и песня у костра сливались во мне воедино, преображали меня, наполняли благодарными слезами.

Мой тесть не только был поклонником пения, но и неумолимым тружеником и мастером-домоводом. Нельзя было не зауважать этого хозяина, ничуть не потерявшего (в наш-то век!) вкуса к семье, к дому своему, к собственной душе. Под стать господарю была и его супруга Ольга Александровна — умница, тихоня, работунья и, конечно же, красавица. Да, крепко мне повезло!

Дом, где я стал своим человеком, был просторным, удобным и красивым. Его придумал, и спроектировал, да и построил во многом своими руками сам батя Вася. В Городке таких хором нынче немало: все они — копии с дома Василия Захарова.

К дому примыкал приусадебный участок с хозяйственными постройками, огородом, садом и цветником, в котором росли действительно прелестные цветы, например роза «Глория». Нет нужды говорить, что все: и дом, и в

доме, и строения во дворе, и сад с огородом — было умело и любовно обихожено.

Василий Ильич сделался моим путеводителем по чудо-земле, стал первоучителем ее языка и вдохновенной поэзии. Это с его легкой руки я всем сердцем прикипел к *Беларусі* и навсегда полюбил *беларусаў* — славный славянский народ.

В пятидесятые годы трудно было поверить в мою поэтическую звезду, но мой тесть поверил:

— Не слушай слабаков и маловеров, не бойся далекушей дороги. Трудись — добивайся. Я с тобой.

— А если прогорим?

— Не похоже: не тот ты человек, да и я не лыком шит. Вижу, чего хочешь и для чего. Чую, делу служишь. Читал я тебя. Эк куда ты загадал!.. Прогореть немислимо. Тут можно разве что сгореть. Да ты не из робких. Дерзай!

В Городке я работал обычно по ночам: садился в полночь и до пяти утра сочинял. Худо-бедно, а в городокскую творческую страду я написал пять книжек стихов да переводов сколько.

Хорошо творить ночью: ты наедине сам с собой, мысли четкие, слова значимы, крепкий чай, как награда, тишина и тьма за окнами полна смысла, и трижды каждую ночь — концерт певней. Вообще-то из многих обожаемых пернатых певцов мне милее всех других иволги и коростели. Но, не только: с детства питаю слабость к петушину пению. А в Городке — кочет на каждом насесте. И все поют, славя грядущий свет. И ни одно «кукареку» не похоже на другое. И силы разной, и азарта разного. Разные петухи, одним словом. Один — тонко заходится: хорошо, да уж очень ординарно, «без изюминки»; другой — и подходяще шуманет, но хрипловато: как-то тускло для достойного про-

славления зари; зато иной — как гаркнет, будто базилопротодиакон на молебне: ночь шарахнется, темень будто поредеет, сердце возрадуется!

Я так часто просиживал ночи за письменным столом, что знал дома, где жили выдающиеся «солисты». И прислали мне белорусские сябры по перу приличный гонорар за переводы. С помощью тех денег заполучил я желанную забаву. И принес домой. Спросите: как это? Какой хозяин или хозяйка продаст хорошего петуха? Очень просто: на рынке красная цена петуху была тогда тройак, а я за каждого Петю отвалил по четвертному билету.

Бабушка Ирина Егоровна мою покупку не одобрила:

— Знаю я тебя: не торгуясь, поди, взял? Небось, рублика по три отвалил за петуна?

— В этом роде что-то, но торговался, да еще как! Так что все в полном порядке.

— Почто сразу четыре? Куда нам столько? Да и где ты такую мелюзгу выкопал? В йих и весу-то всего фунта по два, и то если с пером да с потрохом.

— Забыла, что ли, к нам Федор Абрамов на днях будет. Надо же угостить дорогого друга. А что петухи не с индюка ростом, так уж какие есть. Надо их побережь до приезда гостя. — И я расцеловал бабулю.

— До, до! Ладно уж, если так случай, неси их в дровяной сарай. Нонешний березень теплый. Пушай там сидят. В курятник не пущу: биться будут с нашим кочетом.

И я понес «солистов» в дровяной сарай, предварительно пронумеровав им спины и присвоив имена: 1 — Певень, 2 — Певел, 3 — Петел, 4 — Пет. На вид они были весьма невзрачны: мелкие, белый, правда, с шикарными гребнями и весьма внушительными гнутыми шпорами. А кроме гребня и глядеть не на что. Но так было только днем.

Ополночь в сарае вдруг застучало, забарабанило, бабахало! Мне сначала показалось, что обрушилась поленница дров. Вслушался, а это хлопают крылья. И что тут пошло! Едва подав глас — не голос, а именно глас — запевала, как вслед за ним ударила, тоже не безгласая, тройка:хватила почти одновременно в шесть крыльев и в три глотки!

Четыре петуха, не желая уступать пальму первенства, выхвалялись друг перед дружкой — бушевали, заходились, орали, голосили с полчаса. Но это были лишь первые петухи — глашатаи начала новых суток.

Через пару часов все повторилось. И хотя пенье длилось не так долго, зато что это было за ликование! Отродясь не слыхивал такого. Да и вы вряд ли слышали. И все-таки это были только вторые петухи, «петухи зари», как их называли встарь.

Третьи петухи привели меня в полный восторг, чего не сказал бы про домочадцев. На заре в сарае разлилось половодье голосов. Диву даюсь, как это они ухитрились устроить такой концерт? Впрочем, надо понять: захотел быть первым — ухитряйся.

Прошло несколько дней, и ранняя весна дала дикий крен: ночью ударил крепкий мороз, а наутро все завалило снегом. Снова стало зимно, впору на печку залезать. Но недаром говорится: охоту тешить — не беду платить. Впрягся я в дровянки и отправился на мельницу в Третьяки, ловить налимов. Льда на реке там не было.

Плетусь по заснеженной дороге, и хоть бы глаза мои не глядели: и там и тут на полях, целыми косяками, валялись птицы — грачи, скворцы, чибисы, жаворонки... — дело рук постылой зимы, захватившей власть у простодушного марта. И вдруг впереди — пара аистов! Лететь уже не мо-

гут, совсем оголодали и обессилели. Похоже, «доходят». Бросил я санки, давай ловить неудачников. Им от меня не скрыться, а мне их не поймать. Снегу — чуть не до пояса, тут не шибко разбежишься. А все-таки одну птаху настиг. Клюется, дуреха. Пришлось связать и в санки уложить. Какая уж тут рыбалка: повез птицу домой. Другая поковыляла за санками. Так и до нашего двора добрались. Аистов батя определил в курятник. Он-то знал, что делает. Да и кто бы ему возразил. И я не сидел сложа руки: намял вареной картошки, хлеба в нее крошил, отрубями присыпал и отнес пленникам. Аисты успели очухаться в тепле, почуяли съестное, подошли к корытцу и — отнюдь не травоядные птицы — стали уплетать растительный корм. Воистину голод не тетка.

Василий Ильич запер курятник, утешил меня весело:

— За эту пару буселов¹ будь спокоен: до внешнего пира дотянут на бульбе.

Я согласился:

— Непременно дотянут, куда деваться. Не отметить ли, батя, этот факт?

— А почему бы и нет? И мы отметили!..

В один прекрасный апрельский выходной я и тесть заглянули на Святое — поблеснить и на мормышку попытать рыбацкого счастья. Лед на озере был жухлый, конечно, но по утреннику держал надежно. До солнцеграя мы неплохо помормышничали: семь фунтов плотвы и окуней да шупака² на четыре фунта поймали.

Вернулись из похода, вошли во двор, а там... сущий скандал. Квохча и охая, носились перепуганные курицы.

¹ Аист (белорусск.).

² Щука (белорусск.).

Их законный супруг, лишенный своего пышного хвоста, сидел аж на печной трубе и вопил истошно. А возле колодца выясняли отношения вырвавшиеся из заточения четыре моих протеже. Они бились молча, самозабвенно и нещадно. Вокруг драчунов носился белый пух, на земле валялись выдранные перья, из шпикарных петушиных гребней лилась кровь только что не рекой. Словом, шел самый что ни есть решительный бой.

Бабушка Ирина Егоровна сидела прямо на пороге настежь распахнутого дровяного сарая, терла сильно поцарапанные и расклеванные руки и голосом, перепуганным до хрипа, урезонивала вошедших в раж дуэлянтов:

— Хрысь! Хрысь!.. — наверно, вместо «брысь!» простанывала она.

Василий Ильич выпустил из курятника аиста и успокоил встревоженную тещу:

— Бусел мигом наведет порядок!

Так и случилось. Аист деликатно и степенно, но крепко поколотил хулиганов и загнал их в дровяной сарай, отлучив от рябушек и хохлаток. После этого случая все пять петухов, под присмотром одного из аистов, будут мирно пастись во дворе, не помышляя о стычке.

На этот день у аистов был рыбный стол, и они закусывали с явным удовольствием.

До теплых дней так и сидели аисты в курятнике на бульбе. И опускали свои почтенные носы в корытце с едой только после того, как все куры накушаются. Впрочем, пищей аистам была не одна бульба: крыс в курятнике поубавилось чуть не до нуля. Может, бестии сбежали от красноклювых страшилищ, а может быть, попали в их клювы, и увы и ах...

Вскоре после возвращения весны из отступа и освобож-

дения аистов из курятника батя Вася не дюже весело втолковывал мне:

— У моей тещи — бессонница, у твоей тещи — мигрень, да и соседи того. Кроме тебя да меня, все в обиде на артистов: шуму больно много от них по ночам. Так что капеллу придется закрыть. А певунов куда хошь девай. Такое дело.

Побралися я (и не только про себя), посовал в корзинку ретивых петухов и возвратил их прежним владельцам. Иду и рассуждаю сам с собой:

— А что поделаешь? Не везти же птиц в большой город в нашу девятиметровую комнату?

К слову сказать, Федор Абрамов в тот год действительно пожаловал в Городок... спустя три месяца. И недель пять-шесть мы с ним жили в глухой и ласковой вёске¹ Бабарыки в Езерищенском районе Беларуси.

А время брало свое — текло. Добралось оно и до моего городокского возвышения: осенью 1964 года «по семейным обстоятельствам» я остался без Городка — обездомел и осиротел. Я отчалил из милой *Беларусі* куда глаза глядят, всхлипнув прощальными виршами:

Беларусь

Василию Захарову

Говорят про тебя, что ты — Белая Русь.
Так ли, нет ли — судить не берусь.
Но тобой причастился, голуба,
И зажгла ты Руси однолюба,
Одарив неразменной казною —
Песней «Бульбой», утехой лесною,

¹ Деревня (белорусск.).

Пригожуньей моею жадобной,
Простотою твоей бесподобной.
Приоткрыла лицо вековое:
Ни покоя, ни слез — роковое.

В воспитании своего сына Григория мы не были оригинальными: сплавили чадо на попечение тещи и тестя в Городок. Он там и жил с двухлетнего возраста до окончания белорусской средней школы.

Сколько походов в окрестные поля и отдаленные леса мы совершили с моим сыном! Сколько дней провели с удочками на бегучей зеркаловодной Горожанке и на пригородокских озерах — Луговом, Ореховском, Щербаковском, Озерках, Святом, — озерах, тогда почти не замутированных плодами техреволюции, самой непредсказуемой и нещадной для природы и души пагубы!

Произведения великих поэтов в нашем доме не переводились, и мы очень часто — то по книгам, то наизусть — читали вслух. И не только читали, но и сами напару с сыном довольно часто слагали стихи. Поэтому хоть одно из ранних стихотворений Гриши Григорьева я решаюсь привести. Написано оно было на берегу Горожанки 3 сентября 1962 года (автору тогда было шесть лет).

Река поет

Гуляют тени на горе,
Внизу вода поет.
Я уж рыбу на заре,
А рыба не клюет.
Ни уклея, ни пескари —
Не ловятся никак,
Зато я греюсь от зари!
А вы могли бы так?

В это же время Гришкой была придумана трагикомедия «Происшествие в огороде»: Червяк женился на Лопате. Рассеченного молодожена склевал Петух. Хорошая бабушка посадила жадюгу Петуха «в кутузку», а злую жену Лопату вонзила в землю «для очищения от греха».

У меня от этих сочинений сына было такое впечатление, будто вдругорядь я одарен детством...

Окончив среднюю школу, в том же 1973 году сын поступил на морской факультет ныне снова Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии. И через шесть лет (в 1979 г.) стал врачом на подводной лодке, которая базировалась во Владивостоке.

Служилось сложно, трудно, а иногда и лихо. За пять лет службы (1979-84 гг.) — три аварии на подлодке и три ЧП. Но удручала не столько рискованная служба, сколько укоренившаяся в начальственной среде пагуба прислужничества. С чем, разумеется, молодой лейтенант, с детства возвращенный на честности, человеколюбии и свободомыслии, примириться никак не мог. За это и впал в немилость у своего начальства. Приходилось терпеть. Но уныния не было. Тому пример — письмо сына ко мне.

«7 августа 1984 года, Владивосток.

Дорогой отец! Здравствуй! Твое обещанное письмо пока не получил. И потому сам решил тебе написать.

Новостей у меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столбами. Но это меня несколько не удручает. Ведь я умею не замечать этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: происходящее сейчас — лишь «репетиция оркестра», не больше и не меньше. Единственное, что меня волнует, — когда от вас подолгу нет писем. Наши бои еще впереди.

Сегодня, пользуясь многотысячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его стихах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: отец прежде других, в одиночку, начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим бравурным маршам.

То, что я написал, — это мое глубокое убеждение. И сообщить об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов земли Русской.

Крепко целую тебя. А ты за меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».

Еще в бытность курсантом академии Григорий серьезно увлекся психиатрией, психотерапией и биоэнергетикой человека — элементами душеведения. Заниматься этими премудростями он продолжал и на флоте. Изучал тибетскую и индусскую медицину. Читал недозволенные по тем временам иностранные книги по психоаналитике, гипнотерапии, телекинезу, биоэнергетике. И достиг хороших результатов в лечении людей с нервными и душевными недугами.

После окончания интернатуры по психиатрии и успешной практики он стал начальником отделения психиатрии и психотерапии Центральной поликлиники Тихоокеанского флота, где прослужил три года.

Нетрадиционные методы лечения, безлекарственная терапия, неформальный подход к хворающим, наконец, высокий эффект исцеления (за три года сын полностью или в значительной мере избавил от недугов, иногда тяжелых, а то и тяжких, более трехсот человек) принесли ему любовь больных и ненависть влиятельных завистников. Чего только не инкриминировали молодому лекарю-чудодею: нарушение уставов, разложение офицеров, порчу больных, психические заскоки и, наконец, кришнаизм и шпионаж. В немаловажную вину ставили и его богоискательство.

В 1984 году, полуживой, однако с неукрощенным духом, несомленной волей и неугасшей верой, сын был выпихнут с флота — демобилизован.

Вернулся к своей матери, на Выборгскую сторону родного Ленинграда. К работе по психотерапии не пускали бдительные партдяди, и два года он был участковым терапевтом в районной поликлинике. Наконец, в 1986 году, ему удалось устроиться психотерапевтом в больницу Академии наук СССР. В течение двух лет (1986-1988 гг.) сын прошел специализацию по гипнотерапии в Государственном украинском институте усовершенствования врачей (г. Харьков). Окончил он и полный курс обучения наркологии методом кодирования и стрессотерапии у выдающегося нарколога Александра Довженко в Наркологическом центре (г. Феодосия).

С 1988 года Григорий Григорьев является первым вице-президентом и главным специалистом Международного института по изучению резервных возможностей человека. Успехи Института налицо: за четыре года его существования больше двадцати тысяч человек были избавлены от алкоголизма, курения и наркомании. Десятки тысяч людей прошли курс саморегуляции и обрели доброе здоровье.

Я уже говорил, что сын пишет прозу. В 1991 году у него вышли сразу две книги: «Сказка про Алё и Аля» и сборник рассказов и повестей «Накануне чуда». Мне эти книги нравятся. Буду рад, если и вам они приглянутся и придутся по сердцу.

Таков мой Гриша, которому 23 декабря 1991 года исполнится тридцать пять лет.

2 сентября 1956 года (когда мне стукнуло тридцать три) псковская областная газета напечатала три моих лирических наброска. И это было, как первый поцелуй с любимой. А в середине 1991-го для своего 20-тысячного номера та же «Псковская правда» заказала мне стихи, которые, конечно, не напечатала. Вот они:

Юбилярше

Тебе, родимый орган, стих:
Ведь это ж надо ж — двадцать тысяч!
Но сочинителей твоих
Давно пора бы крепко высечь.

Начать с ответственных мужей,
Чтоб нос по ветру не держали,
Спросить: «Не много ль нарожали?
Не жжет ли где от партвожжей?».

Не придержал бы я словца,
Ругая стиль и слог увечный,
Не жалуя «ура-певца»,
Да сам, увы, не безупречный...

Скажи: за двадцать тысяч раз
Как ты вконец не разорилась?
Вокруг тебя ведь столько нас
— Писцов — кормилось и поилось.

Не сетуй, хворая, что я
От умиления не таю —
Вокруг да около витаю,
Надежду на «авось» тая.

Стремясь в заоблачную высь
(Куда деваться — век таковский),
Хоть с кем греши, хоть как зовись,
Лишь не останься «правдой псковской»!

Как видите, за тридцать пять лет мое отношение к «родимому органу», да и отношение «Псковской правды» ко мне, обезрадуужело. И, наверно, это стихотворение есть мой последний поцелуй на ее холодном лбу.

По-настоящему я взялся за стихи с 1940 года, после того как уяснил, что хочу, на что надеюсь, без чего мне и жизнь не в жизнь. А с 1956-го Поэзия всецело завладела моим существом. Люблю ее и я — однолюб: ни на что не променял бы!

С первой книжкой стихов мне просто повезло. Нежданно-негаданно на моем самостоятельном поэтическом пути повстречался большой одухотворенный человек, к тому же умный и лиричный — сотрудница издательства Татьяна Владимировна Боголепова. И «Родимые дали» (Лениздат, 1960) увидели свет.

Вот как это произошло. Получив «полный отлуп» за «русопятство» и «сомнительный идеологический крен» в моих стихах от очень партийного члена СП тов. Ч., я припшелся в Лениздат за рукописью. Но в ворохе бумаг ее не нашли, и мне было указано заглянуть через недельку-другую.

Когда папка с моими стихами отыскалась, ее стала перелистывать старший редактор редакции художественной литературы Татьяна Боголепова. Стихи ей пригляну-

лись. Она унесла рукопись домой и прочла ее. Так, вместо возврата, со мной был заключен договор на выпуск книги.

Мало того, редактором моего первенца, его крестной стала деликатная, умная и опрятная Татьяна Владимировна. Хорошо работалось с такой помощницей! Она учила, но не поучала, хвалила, но не подхваливала, доказывала, но не указывала... Воистину мир не без добрых людей.

Теперь у меня опубликовано восемнадцать книжек лирики и поэм. А итога не получается. И Бог с ним, с итогом! Впереди непочатый край многотрудной, сверхответственной и прекрасной муки – «Кровью чувств ласкать чужие души», как завещал поэтам великий Сергей Есенин. И я, как могу, стараюсь следовать непреложному закону Поэзии: верой и правдой Музе служить. Но брезжит мне вечерняя заря.

В жизни я порядочно переводил: больше для пропитания, но и для утехи сердца случалось переводить стихи.

Прозой тоже иногда маюсь. Это чаще всего рассказы. Но проза хоть и родная сестра поэзии, да не совсем то, что стихи. Проза – дело весьма сложное и хитромудрое. Мой сын Григорий, неплохой прозаик, услышав слабые мои вирши, непременно подтрунит: «Стихи у тебя сегодня, папая, прихрамывают, не иначе, вчера на прозе споткнулся». Наверно, он прав: на прозе даже очень нехитро оступиться. Впрочем, на поэзии оступиться не хитрее...

Со вздохом облегчения признаюсь: журналы меня не забаловали и не обременили. Журнальные корректуры своих стихов, которые пофартило мне держать, мог бы пересчитать на пальцах (не прибегая к пальцам ног). Так что на перегрузку периодикой мне грех обижаться.

Нет причин сетовать и на перегрузку популярностью, и ничего: пою себе и в ус не дую.

Один критик (большинство других помалкивает) окрестил меня: «Поэт последней деревни». И хотя в это страшно и невозможно поверить, но две трети наших весей и сел убиты вчерашней и нынешней действительностью, а уцелевшие сегодня деревни дышат на ладан. И не понимать этого — всем нам — нельзя! Никак нельзя!!!

Подбивая бабки, не могу удержаться от тяжелого вздоха. Наши чувства притупились и наболели от ажиотажа стихотворных репортеров, от амбиций и заявок на главенство и лидерство в художественных процессах, от хрипучей и визгливой шушеры, от красной, желтой и зеленой горлодерщины, от авангардизма, от бесноватой масскультуры. И, как никогда, людей потянуло к Пушкину, Кольцову, Клюеву, к «Коробейникам», к «Барыне», к «То не ветер ветку клонит», к опере «Жизнь за царя»: кого — к кому, кого — к чему. Но непременно к настоящим провидцам и певцам ныне неслыханно поруганной и обиженной, обожаемой земли Русской, ее обкраденного — осовеченного и обыностраненного — Глагола и Напева.

Услышьте меня!

В человеке я дороже всего ценю веру, любовь, доброту, красоту и талант.

В Поэзии мне ближе всех Сергей Есенин, Александр Блок, Николай Рубцов — исповедующиеся исповедники.

Поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» знаю наизусть.

Из ныне здравствующих поэтов крепко люблю Глеба Горбовского, Светлану Молеву и Владимира Соколова — Поэтов, а не стихотворцев. Да будут они благословенны!

В прозе самые чтимые писатели Николай Гоголь, Федор Достоевский, Николай Лесков, Михаил Пришвин, Фе-

дор Абрамов, Константин Воробьев, Василий Белов, Виктор Астафьев, Владимир Личутин и, конечно же, первейший из современников — Валентин Распутин.

И еще одно, последнее, признание. В жизни и литературе я не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежительно прозванных «эмоциями». Время и безвременье понимаю, как ни чем и тем более ни кем не сокрушимый сплав будущего, настоящего и прошлого. Все перемелется.

1991, Псков

ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИГИ ИГОРЯ ГРИГОРЬЕВА

- Родимые дали : стихотворения. — Л. : Лениздат, 1960.
Зори да вёрсты : стихи. — М. ; Л. : Советский писатель, 1962.
Листобой : стихи и поэмы. — М. : Молодая гвардия, 1962.
Сердце и меч : стихи. — М. : Воениздат, 1965.
Горькие яблоки : лирика. — Л. : Лениздат, 1966.
Забота : поэмы. М Л. : Лениздат, 1970.
Отзовись, Весняна : лирика и поэма. — М. : Советская Россия, 1972.
Не разлюблю : стихотворения; поэмы. — Л. : Лениздат, 1972.
Красуха : стихи. — М. : Современник, 1973.
Целую руки твои : лирика. — Л. : Лениздат, 1975.
Жажда : стихотворения. — Л. : Лениздат, 1977.
Стезя : новые стихи. — Л. : Лениздат, 1982.
Жить будем : стихотворения. — М. : Советская Россия, 1984.
Уйти в зарю : стихотворения и поэмы. — Л. : Лениздат, 1985.
Дорогая цена : стихи. — М. : Современник, 1987.
Вьюга : поэма. — Л. : Редактор, 1990.
Русский урок : лирика и поэмы. — Л. : Лениздат, 1991.
Крутая дорога: стихи о судьбе и Родине. — Псков : Отчина, 1994.
Кого люблю : посвященные стихотворения. — СПб. : Путь, 1994.
Набат : стихи о Войне и Победе. — СПб. : Путь, 1995.
Боль : избранное. — СПб. : Путь, 1995.
Любимая — любимой остаётся: избранные стихи. — Псков: Курсив, 1998.
Перед Россией : стихи и проза. — М. : Сам Полиграфист, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Наталья Советная	
«Отзывайся вздохом полным на удел души беззвучный.....»	3

КРУТАЯ ДОРОГА

« На неостывших ворохах золы... »	9
« Покров гостует в захолустье... ».....	10
Диалог.....	11
«Я рад посмеяться... »	12
« Когда мы жизнью вдоволь наиграемся... »	13
«У дня и ночи граней нет... »	14

КОГО ЛЮБЛЮ

Свои шаги.....	17
К Боли.....	18
Двадцатитысячнице «Псковской правде»...	19
Руки.....	20
Перед июнем.....	21
Танте Эмилия.....	22
Тайга.....	23
«Под зарей, росой белёсой... ».....	24
Навстречу лиловой горе.....	26
Тимоха	28
Ладога	29
«Приглашенный вечер спокойно истаял... ».....	30
Июнь.....	31
«В незапамятных местах... ».....	33
На пепелище.....	34
Ольга.....	36
Москва.....	37
Встреча.....	39

Отвальная.....	41
Крещение зарей.....	43
Жизнелюбы.....	45
Егоровна.....	47
Просёлок.....	49
Свидание.....	51
Именины.....	52
Июль.....	54
Партизан.....	56
На массаже. Шутка.....	58
Нюшка-лягушка.....	59
Девочка и утро.....	61
«До искринки сердце вверяешь... ».....	63
« Ты мне кажешься полем... ».....	64
Гриня.....	65
Беларусь.....	67
Местность.....	68
Озеро.....	70
Частушки.....	72
Промельк.....	75
Ночка.....	76
Ожидание снега.....	78
« Приглушённые голоса... ».....	79
Когда занепогодит.....	80
«Неотверенное счастье... ».....	81
«Когда изнеможем, идя напролом... ».....	83
« Непролазь-сумётами... ».....	84
Надежда.....	85
« Земля пофасонила малость... ».....	86
По росе.....	87
«Без крестов, без колоколен... ».....	88
Баба Паша.....	89
«Знать, нельзя иначе... ».....	90
«В который раз одно и то ж... ».....	92
Ода.....	93
Марья Степановна.....	94
Нечаянная радость.....	95
Берёзовый сок.....	96
Гость поживает. Шутка.....	98
Веретенка.....	99

Нежданный вечер.....	101
Поэты.....	102
Рыбаки.....	103
Тёзки.....	105
Выбор.....	107

БОЛЬ

Зима 1993.....	111
Россия.....	112
« Горемаятная Родина... ».....	113
« В селе петушья куролесица... ».....	114
« Тебя принимая, себя не жалею... ».....	115
« Звездопада Августовна — ночь... ».....	116
Внуку.....	117
Сыну.....	118
« От деревенщины моей... ».....	119
« Не шелохнется, не встрепенётся... ».....	121
« До чего же не невесёлая картина... ».....	122
Светлане.....	123
Вечер.....	124
« Немы и пусты ... ».....	125
Безвремяе.....	126
« Сушь — земля сырая... ».....	127
« Льют лиловые потёмки... ».....	128
Перед Россией.....	129
Пробуждение.....	130
« Чтоб сердечней биться... ».....	131
Воспоминание.....	132
« Ты ушла. Никто нейдёт... ».....	134
Весна.....	135
Диане.....	136
Верба.....	137
Песня.....	138
Маргарите.....	140
Октябрины.....	141
« Прошла поспешно мимо... ».....	143
Непогода.....	144
« Живёшь... и вдруг увидишь... ».....	145

« Было, нет ли? А коль было... »	146
Аист	147
« Выдохлась метель, зима устала... »	148
Ларисе Спиридоновой	149
Оправдание	150
« Звезду обманчивую стёр... »	151
Перед дорогой	152
Твой дом	153
Веселины	154
Во времена года	
За цветенью	155
За листопадом	155
За вьюгой	156
За паводком	156
Дикие яблони	157
Вербная ночь	158
Под звёздами	159
Вьюга	160
« Дом ты мой, дом пустой... »	162
« Спит земля, огромна и печальна... »	164
« Чем, берёзки, вы лето обидели... »	165
Лирика	167
« Разжалей, простив обман	169
У причала	170
Вишенка	172
« Хорошо с умытым полем... »	173
На Синичьей горе	174
« Заревою былью... »	175
Владиславу Шошину	177
Гусачка	179
« Сухое поле алчно воду пьёт... »	180
Листобой	181
Омуты	182
Август	183
Горькие яблоки	184
Елене Новик	186
Зимнее	187
В снегопад	189
Вечернее	191
« Бездонный берёзовый омут... »	192

« Двадцатый век с десятым веком... ».....	194
С посохом.....	195
На дороге.....	197
Хутор.....	199
« В сини месяц спелый... ».....	201
Проводы.....	202
Письмо любимой.....	204
« Покойны жёлтые озёра... ».....	205
Блудный сын.....	206
« Мне бедный лог, осенний лог... ».....	207
Присказка.....	208
« Настороженный покой. Замирание... ».....	212
Пылающий скит.....	213
Ноябрь.....	214
Озарение осени.....	215
« Поклон, поклон, ржаное поле... ».....	216
Душа.....	217
« Дорогие лесные поляны... ».....	218
Грачи.....	220
« Я в русской глухомани рос... ».....	221
« Простодушно удружила... ».....	223
Погост Жаборы.....	224

НАБАТ

Ратоборцы.....	228
« Я помню огненную ночь... ».....	230
Ночлег.....	232
22 июня 1941.....	234
Дуня.....	235
После налёта.....	236
Отступление.....	237
Набат.....	238
Касин Касинович.....	240
Физик.....	242
Лихо.....	243
Постижение.....	244
Гореванье.....	249
В плену.....	246

Непокорство.....	247
Буря.....	248
« Поле Молитву твердит наизусть... ».....	249
Разведчица.....	250
С донесеньем.....	251
В немецком поезде.....	253
Поединок.....	254
Бабушка.....	255
Любови Смуровой	
В новогоднюю ночь.....	257
Связные.....	257
Последний большак.....	258
Плач по Любови.....	259
В комендатуре.....	261
День рождения.....	263
« На волоске».....	264
« Он промахнулся дважды... ».....	265
Оплошка.....	266
Сон.....	268
Брат.....	269
Мать.....	270
Трифон.....	271
Привал.....	273
Разведка.....	275
Переход.....	276
Верность.....	277
Кабы да пожить.....	279
На поле боя.....	281
« На последнем своём берегу... ».....	282
« У самой траншеи... ».....	283
Засада.....	284
Прощанье.....	285
Контратака.....	287
Меня ранило.....	288
Боль.....	289
22 июня 1944 года.....	291
« Последний выстрел замирает... ».....	292
В Егорьев день.....	293
Победа.....	294
После войны.....	296

Красуха	
Красуха в сентябре 1943.....	298
Поминок.....	299
Красуха.....	301
Сев.....	303
Заклятье.....	305
Минуты.....	308
Путь.....	310
Память.....	311
Удел.....	313
Помолвка.....	314
9 мая.....	318
Русский урок. Поэма.....	319
 Автобиографическая повесть	
ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ.....	331
 Поэтические книги Игоря Григорьева.....	424

Перед Россией

Стихи и проза

Текст — Игорь Григорьев

Предисловие — Наталья Советная

Дизайн обложки — Анна Селенкова

Верстка — Анна Селенкова, Александр Ольхин

Фотография из семейного архива Григорьевых

Подписано в печать 29. 10.2014.

Формат 60 x 84 1/16. Гарнитура «Book Antiqua».

Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ л. 33,0.

Тираж 200 экз. Заказ № 49493

Отпечатано в типографии «Onebook.ru»

ООО «Сам Полиграфист»

129090 г. Москва, Протопоповский переулок д.6

E-mail: info@onebook.ru

www.onebook.ru

перед
РОССИЕЙ

*Игорь Григорьев
стихи и проза*

Перед Россией

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Ее беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишенных веры.
Ее беда — не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином —
От зябкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук)
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть — не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Игорь Реняев.